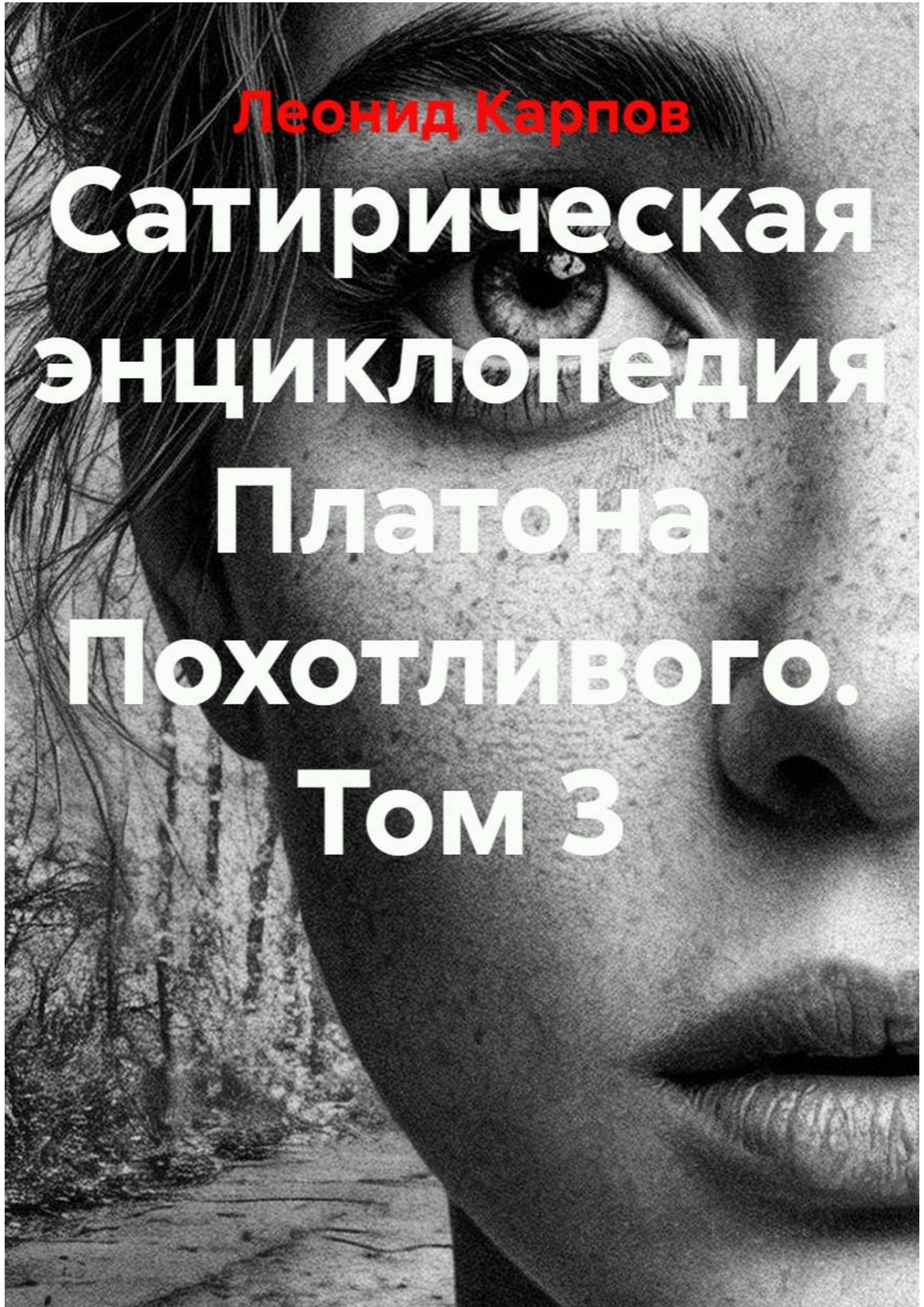




Леонид Карпов

**Сатирическая
энциклопедия
Платона
Похотливого.
Том 3**

Леонид Карпов

**Сатирическая энциклопедия
Платона Похотливого. Том 3**

«Автор»

2026

Карпов Л.

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 3 /
Л. Карпов — «Автор», 2026

Интеллектуальное чтение, которое начинается за здравие, а заканчивается у забора. Платон Пантелеймонович Похотливый виртуозно рассуждает о сложных научных терминах и мировых проблемах. Но стоит случайной искре разжечь его фантазию, как академический тон сменяется безудержным, грубым и уморительным монологом о женщинах. Книга-энциклопедия для тех, кто ценит тонкую иронию, настоящее просвещение и не боится крепкого словца. Смешно до слез, познавательно до неприличия.

© Карпов Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Криптовалюта	5
Криптология	7
Куколдизм	9
Культуртрегер	11
Кундалини	12
Кунштюк	14
Купажирование, купаж	15
Куртуазность	17
Лабильность	19
Ламинарность	20
Лапидарность	21
Латентность	22
Латифундия	24
Левитация	26
Летаргия, летаргический сон	28
Лидогенерация	30
Лизинг	31
Лимитроф	33
Лубрикант	35
Лукративность	36
Лупанарий	37
Люминесценция	38
Люмпен, люмпенизация	39
Люстрация	41
Макабр	43
Мальтузианство	44
Манихейство	46
Манкирование	48
Маргинал	50
Маркетинг	51
Маркиз де Сад	53
Маркитант	55
Матримониальный	57
Мачизм	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Леонид Карпов

Сатирическая энциклопедия Платона Похотливого. Том 3

Криптовалюта

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично курировал поставки зерен из Эфиопии. Его пенсне, державшееся на переносице исключительно честным словом и капелькой пота, отражало суету петербургской улицы.

Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации. Он видел в прохожих не людей, а лишь несовершенные атомы, хаотично блуждающие в поисках смысла, который был доступен лишь ему – хранителю высокой морали и обладателю полного собрания сочинений Жака Деррида (впрочем, неразрезанного).

– Мир вырождается, – шептал он в пенку капучино. – Дух слабеет, материя торжествует. Нет былой строгости линий...

В этот момент за соседний столик присел юноша в худи. Он шумно поставил ноутбук и радостно воскликнул в телефон:

– Майнинг-ферма окупилась! Биткоин пробил потолок, перехожу на эфир и солану!

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «солана» отозвалось в его сознании чем-то южным, томным и подозрительно пахнущим дешевыми духами. Он погладил свою козлиную бородку и, обращаясь к пространству, начал свой неизбежный спуск к любимой теме.

– Вот она, трагедия современности, – звучно проговорил он. – Криптовалюта. Цифровой суррогат. Ведь что такое блокчейн, если отбросить шелуху терминов? Это распределенный реестр. Цепочка блоков, где каждое звено подтверждает предыдущее. Не кажется ли вам, молодой человек, что это до боли напоминает структуру... хм... борделя?

Юноша поперхнулся латте. Платон Пантелеймонович, не дожидаясь ответа, продолжал, и голос его приобрел маслянистый оттенок:

– Вы говорите «децентрализация». Ха! Это же чистый разврат. Когда нет единого эмиссионного центра, когда каждая... гм... транзакция видна всем, но анонимна – это же свальный грех в масштабах Интернета! Биткоин – это стареющая матрона: дорогая, медленная, требует огромных энергозатрат, чтобы просто поддерживать форму. А ваши альткоины? Это же молоденькие потаскушки с вокзала. Сегодня они «пампятся», завтра «дампятся», и каждый встречный норовит влить в них свою ликвидность.

Платон Пантелеймонович подался вперед, его пенсне опасно накренилось.

– А этот ваш майнинг? Вы же втыкаете свои... видеокарты в розетки, греете воздух, пыхтите над хешрейтом. Это же чистая физиология! Вы ищете «хеш», как похотливый матрос ищет щель в заборе женской бани. А смарт-контракты? Это же просто договор о неразглашении после грязного дельца. Вы входите в позицию, вы ждете лонга, вы боитесь ликвидации... Боже, да вы просто описываете свои влажные фантазии в коде!

Голос Похотливого сорвался на хриплый шепот, он уже не скрывал плотоядной ухмылки:

– Рынок волатилен, как баба с похмелья. Сначала она дает тебе «зеленую свечу», заманивает, обещает иксы, а потом – р-раз! – и ты в глубокой просадке, с пустым кошельком и сифилисом на жестком диске. Крипта – это не финансы, милейший. Это одна сплошная, потная, вонючая оргия цифр, где каждый блок жаждет притереться к соседнему.

Юноша быстро захлопнул ноутбук и почти выбежал из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил его торжествующим взглядом, вытер со лба испарину и удовлетворенно вздохнул.

– Просвещение – тяжелый крест, – резюмировал он, жадно разглядывая официантку, чья юбка, по его мнению, была подозрительно похожа на график резкого обрушения курса.

Криптология

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто за кухонной стойкой варили не латте, а судьбы человечества. Он поправил пенсне и окинул зал взором пресыщенного демиурга. Вокруг кипела жизнь – бессмысленная, хаотичная, совершенно не структурированная глубокой мыслью.

«Мир, – думал Платон Пантелеймонович, – есть лишь совокупность зашифрованных сигналов. Мы все – узлы в огромной сети, где каждый взгляд – это ключ, а каждое молчание – протокол безопасности».

На столе перед ним лежала книга по прикладной криптологии. Он нежно погладил обложку. Криптология была его страстью, его способом смотреть на бытие. Он видел в ней божественный порядок. Шифрование – это ли не высшее проявление воли, когда истина прячется от недостойных за частоколом алгоритмов?

В этот момент за соседний столик присела пара. Девушка, расстегивая тяжелое пальто, нечаянно задела локтем сахарницу. Белые крупинки рассыпались по полированному дереву, образовав бесформенное пятно.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его зрачки расширились. В рассыпанном сахаре он увидел не небрежность, а энтропию, требующую немедленной дешифровки.

– Вы видите это? – обратился он к юноше, который бросился собирать сахар салфеткой. – Не смейте! Вы уничтожаете код! Это же чистой воды стеганография – искусство скрытой передачи информации, когда сообщение прячется внутри другого, безобидного объекта. В данном случае – в хаосе углеводов.

Молодые люди замерли. Платон Пантелеймонович подался вперед, его голос приобрел вибрации старой виолончели.

– Поймите, невежды, вся история цивилизации – это борьба за конфиденциальность. От древнегреческой «сциталы», где кожаную ленту наматывали на палку, до «Энигмы» Третьего рейха. Вы думаете, криптография – это просто циферки? Нет! Это асимметричное шифрование нашей души. У нас есть открытый ключ, который мы дарим всем, и закрытый ключ, который... – он осекся, и в глазах его вспыхнул нездоровый, маслянистый огонек.

Стиль его речи начал стремительно тяжелеть, как намокшее в канаве сукно.

– Вот взять, к примеру, хеширование. Это когда ты берешь массив данных и превращаешь его в уникальную строку. Необратимо! Как фарш обратно в мясо не повернуть. С бабами – та же история. Вот смотришь на нее – вроде бы открытый текст, читай – не хочу. А на самом деле там такая криптостойкость, что никакой брутфорс не возьмет. Атака по словарю? Ха! Чтобы вскрыть эту систему, нужно знать ее индивидуальные уязвимости.

Он облизнул губы. Благообразный петербуржец в пенсне куда-то исчез, на его месте сидел субъект с тяжелым дыханием.

– Каждая девка – это, по сути, зашифрованный контейнер. Ты к ней со своим «протоколом Диффи-Хеллмана», мол, давай обменяемся секретными ключами по незащищенному каналу в парадной, а она тебе – фиг, у нее там квантовое распределение ключей. Сидит, зараза, ноги скрестила – вот тебе и шифр перестановки. Ты ее за коленку, а она те в ответ – ошибку 403, доступ запрещен.

Юноша попытался увести подругу, но Платон Пантелеймонович уже схватил его за рукав.

– Стой, дурень! Ты хоть знаешь, что такое «атака посредника»? Это когда ты думаешь, что шепчешь ей на ушко нежности, а на самом деле между вами вклинился какой-нибудь Ашот из шашлычной и весь трафик перехватывает! А ее юбка? Это же классический блочный шифр. Чем короче блок, тем быстрее происходит дешифровка содержимого. Я вчера одну такую видел

– там длина ключа была всего восемь бит, прикрывала чисто символически, весь алгоритм наружу торчит, так и хочется внедрить свой вредоносный код в ее базу данных...

Девушка вскрикнула и потянула спутника к выходу. Платон Пантелеймонович кричал им вслед, разбрызгивая слюну на учебник:

– У нее же там асимметричное шифрование! Там дыра в безопасности размером с уязвимость нулевого дня! Хеш-код не сходится, слышите?! Там соли мало! Добавьте соли в ее хеш, иначе любой хакер прокачает через этот бэкдор свои эксплойты по самые гланды!

Когда за парой захлопнулась дверь, Платон Пантелеймонович тяжело осел на стул. Он поправил пенсне, которое теперь сидело криво, и вновь стал похож на почтенного профессора.

– Дикари, – вздохнул он, глядя на сахар. – Совершенно не разбираются в защите информации. А ведь без надежного шифрования любая баба – это просто общедоступный сервер, куда каждый встречный норовит залить свои дампы.

Он заказал еще один кофе и принялся ждать следующую криптографическую уязвимость.

Куколдизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на веранде кофейни. Майский вечер в Санкт-Петербурге дышал негой. Прохожие казались Платону Пантелеймоновичу персонажами пасторали, недостойными его тонкого онтологического анализа. Он поправил пенсне, мысленно воспаряя к высотам геополитики. По его авторитетному мнению, малые нации слишком настойчиво требуют суверенитета, совершенно не понимая прелести подчинения крупным державам.

Вдруг идиллию нарушил резкий звук. Молодой человек за соседним столиком неловко взмахнул рукой. Его недопитое латте выплеснулось прямо на белоснежные брюки сидевшего напротив господина.

– Ах, пардон, ради бога! Я оплачу химчистку! – в ужасе воскликнул виновник.

Пострадавший господин сидел за столиком со своей роскошной спутницей в умопомрачительном декольте. Отерев салфеткой мокрое колено, он благодушно улыбнулся испуганному юноше:

– Пустяки, молодой человек, не переживайте вы так! С кем не бывает. Оленька, душенька, – обратился он к своей даме, – сходи-ка к стойке, закажи юноше новое латте взамен разлитого. И сиропчику ему попроси, карамельного. А то у него руки от волнения трясутся.

Глаза Оленьки вспыхнули интересом, она с готовностью поднялась и одарила юношу многообещающим взглядом.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах блеснул зловещий огонь познания. Тонкая нить макроэкономики в его разуме мгновенно порвалась, обнажив ржавую арматуру его истинной страсти.

«Какое малодушие, – подумал Платон Пантелеймонович, чувствуя, как внутри закипает привычный зуд. – Какое тотальное, экзистенциальное куколдоугодничество! Ведь это чистой воды суррогатное соитие духа!»

Он не выдержал. Он подался вперед, обращаясь к опешившему соседу в испачканных брюках. Голос его поначалу звучал велеречиво, как на лекции по философии.

– Милостивый государь, вы зря транслируете эту мнимую христианскую покорность. Ваша реакция – это же чистейший, рафинированный куколдизм в его социально-бытовой проекции! Вы ведь не знаете, что это такое, правда? Общество глухо к терминам! А ведь куколд – от старинного французского слова, намекающего на кукушку, подбрасывающую яйца – это не просто рогоносец. Это, батенька, целая философия добровольного кушанья чужих объедков! Это когда субъект испытывает извращенное, низинное удовольствие от осознания того, что его законным имуществом или правами пользуется другой, более доминантный самец. Вы сейчас позволили ему осквернить ваши порты, и улыбаетесь, как последний рохля!

Соседи по столику попытались отодвинуться, но Платона Пантелеймоновича было уже не остановить. Приличные слова стремительно вымывались из его лексикона, уступая место тяжелой, приземленной правде жизни. Пенсне сползло на кончик носа.

– Да что там брюки! – рявкнул он, переходя на хриплый бас и брызгая слюной. – Вы посмотрите глубже! Куколдизм – он же везде! Настоящий куколд – это ведь кто? Это терпила высшего разряда. Он сажает свою бабу на переднее сиденье чужого мерса, сам лезет в багажник и оттуда подглядывает в щелочку, как волосатый кавказец мнет ее дородные бока! И ведь слюни пускает, придурок! Ему в кайф, понимаете? Когда чужой мужик прилетает на его территорию, расчехляет свой агрегат и начинает обрабатывать его благоверную по полной программе, пока этот законный супруг в углу сопли на кулак наматывает и дергается в конвульсиях!

Прохожие начали оглядываться. Официант бочком двинулся к стойке администратора. Платон Пантелеймонович уже полностью погрузился в пучину своей навязчивой идеи, растеряв весь лоск.

– Вот и ты сейчас! – ткнул он пальцем в пострадавшего господина. – Тебе штаны залили, твое эго растоптали, а ты и рад! Ты ж мечтаешь, небось, чтоб этот сопляк к тебе домой пришел, разложил твою матрешку на кухонном столе среди грязных тарелок, а ты бы им пиво подносил да полотенце держал, пока они там пыхтят и потеют! Тьфу! Весь мир – одна сплошная куколд-вечеринка, где нормальные мужики смотрят, как чужие жеребцы топчут их баб, и еще добавки просят!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, завалился назад на стул и залпом допил остывший раф, дико озираясь по сторонам в поисках новых признаков глобального разврата.

Культуртрегер

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы так сильно, словно удерживал ими по меньшей мере государственную тайну или томик Канта. Его пенсне, укрепленное на переносице с трагической решительностью, отражало суету петербургской улицы. Платон Пантелеймонович мыслил категориями вечности, а его внутренний монолог напоминал передовицу дореволюционной газеты.

«Мир, – думал он, поправляя безукоризненный галстук, – нуждается в Культуртрегере. Не в простом обывателе, а в носителе духа. Ведь кто такой культуртрегер? Это не только исторический колонизатор, несший свет европейского просвещения в дикие земли. Это миссия! Это трансляция высших смыслов в хаос бытия. Я – сеятель на этой каменистой почве».

Он обвел взглядом зал. За соседним столиком молодая мать пыталась впихнуть в капризного ребенка кусок круассана. Платон Пантелеймонович поморщился.

– Сударыня, – изрек он гулким баритоном, – вы нарушаете гармонию момента. Культуртрегерство начинается с самодисциплины. Вы возвращаете не личность, а потребителя, в то время как наша задача – экспорт этических ценностей.

Мать испуганно моргнула. В этот момент официант, спешивший мимо, задел краем подноса фикус. Лист растения мазнул Платона Пантелеймоновича по щеке, а на столик упала тяжелая, влажная капля воды.

Пантелеймонович замер. Взгляд его остекленел. Логическая машина внутри его черепа, смазанная специфическим маслом, пришла в движение.

– Вот! – воскликнул он, и голос его вдруг приобрел неприятную, маслянистую хрипотцу. – Типичный пример провала просветительской миссии. Культуртрегер, говорите? А ведь что такое «культура» в ее первозданном, так сказать, соку? Это же возделывание. Вспашка. И вот этот фикус, он же как баба нечесаная – лезет тебе прямо в рожу своими отростками.

Он наклонился к опешившей женщине, и его пенсне сползло на кончик носа.

– Вы думаете, я о высоком? Да бросьте. Все эти ваши ценности – это просто обертка. Вот взять хоть этих миссионеров в Африке. Шли, дескать, нести свет. А сами что? Глядели на местных девок, у которых из одежды – одно ожерелье на пузе, и слюни пускали. Культуртрегерство – это же чистой воды сублимация желания завалить кого-нибудь в кусты под соусом изучения алфавита.

Платон Пантелеймонович громко прихлебнул остывший кофе и вытер рот рукавом, забыв про салфетку.

– И погода сегодня такая же... потная. Липкая, как ляжки рыночной торговли. Гляньте в окно: небо серое, будто простыни в дешевом номере, где клопы и пахнет вчерашним перегаром. Все эти ваши разговоры о духе – чепуха для импотентов. Мир – это большая, заросшая бабища, которая ждет, чтоб ее как следует приложили об забор, а не читали ей стишки про фиалки.

Он яростно зачесал пятерней козлиную бородку, превращая ее холеный клинышек в растрепанный веник.

– Культуртрегер я, ага... Я бы сейчас этой «культуре» так вдул, чтоб у нее искры из глаз посыпались. А вы тут с круассанами... Тьфу! Тесто рыхлое, как живот у Аграфены из третьей парадной, – ни упругости, ни задора, одно разочарование и кислятина во рту.

Платон Пантелеймонович встал, опрокинув стул, и, не расплатившись, побрел к выходу, на ходу расстегивая жилет и что-то бормоча про «мясистые подробности» бытия.

Кундалини

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал в кофейне «Амброзия» с таким видом, будто само пространство вокруг него остро нуждалось в дезинфекции и интеллектуальной правке. Тонкие губы его были брезгливо сжаты; поправив пенсне, он окинул посетителей взором античного божества, которое по ошибке забрело в дешевый балаган и теперь с трудом скрывает свое разочарование в человечестве.

Мир вокруг казался ему сложным механизмом, заведенным рукой не слишком расторопного часовщика. Платон Пантелеймонович размышлял о прецессии равноденствий и о том, как хрупка мембрана между цивилизацией и первобытным хаосом.

«Мы лишь искры в горниле вечности», – записал он в блокнот каллиграфическим почерком, любуясь изяществом буквы «ять», которую он продолжал использовать из чистого эстетического эгоизма даже во второй четверти 21 века.

Но тут за соседним столиком случилось непоправимое: тучная дама в шляпке-пирожке неловко потянулась за эклером и опрокинула чашку латте. Молочная пена поползла по скатерти, напоминая очертаниями материк Австралию.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его зрачки расширились.

– Посмотрите на это излияние, – произнес он вслух, обращаясь к опешившему официанту. – Видите ли вы в этом хаосе проявление спящей энергии? Это же чистейший символизм пробуждения Кундалини!

Официант замер с подносом. Платон Пантелеймонович подался вперед, его голос приобрел вкрадчивую и тревожную хрипотцу.

– Вы, молодежь, невежественны. Вы думаете, Кундалини – это просто слово из йога-тура в Гоа? О нет. Это огненная змея, дремлющая в основании позвоночника, в муладхара-чакре. Она свернута в три с половиной оборота, как пружина в дешевом матрасе, и ждет... ждет, когда ее пощекочут правильными пассами. И когда она просыпается, она прет вверх через сушумну, прошибая чакры, как прапорщик двери в каптерку!

Платон Пантелеймонович облизал пересохшие губы. Его безупречный галстук съехал набок, а высокопарный тон начал стремительно линять, обнажая натуру куда более приземленную.

– Просветление, говорите? Духовный рост? Не смешите мою седую мошонку! Эта змеюка, когда встает, она же ищет выхода. И выход этот, дружок, всегда один – в биологическую нишу. Вот посмотрите на ту мадам с эклером. У нее же в глазах – чистый застой праны в районе таза! Ей бы не кофе лакать, а чтобы ее Кундалини кто-нибудь хорошенько прочистил.

Он перешел на полупшепот, и в его лексиконе прорезались нотки портового кабака.

– Ведь что такое женщина без пробужденного канала? Это ж просто мебель, дрова. А когда у нее там, внизу, змея заворачивается – у-у-у, брат! Там такая жара начинается, что никакой огнетушитель не спасет. Она ж тогда не о высоком думает, не о Гете с Ницше. Ей подавай грубую, мужицкую стыковку, чтоб искры из глаз и штукатурка с потолка.

Официант попытался отойти, но Похотливый вцепился ему в рукав, брызжа слюной на скатерть.

– Вся эта ваша мировая политика – тьфу! Просто у мировых лидеров Кундалини в узлы завязалась, оттого и санкции. А девкам что надо? Им надо, чтоб змея эта до макушки дошла и там расцвела лотосом. А путь к этому лотосу лежит через такие дебри, где приличный человек и сапоги испачкает. Я вот вчера видел одну в метро... такая фифа, в очках. А по глазам вижу: Кундалини-то у нее не просто спит, она там храпит на весь вагон! И ждет она не принца, а здорового хама, который ей эту энергетику так распрямит, что она неделю сидеть не сможет, зато – просветленная!

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, тяжело дыша. Его взгляд, еще минуту назад искрившийся интеллектом, теперь мутно блуждал по коленям проходящих мимо дам.

– Да... энергия... – пробормотал он, вытирая пот со лба засаленным платком. – Все в мире – змеи и дыры, голубчик. Остальное – суета и тлен.

Он снова взял блокнот и, криво улыбаясь, приписал под «искрой в горниле»: «...и каждой искре нужен хороший шомпол».

Кунштюк

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», прихлебывая остывший цикорий из майсенского фарфора. Его ум, сей драгоценный кристалл чистой воды, сегодня был занят созерцанием мирового порядка. За окном расстился серый петербургский полдень, похожий на плохо выстиранную манишку обедневшего аристократа.

«Как бrenно бытие, – размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Природа замерла в ожидании катарсиса. Тучи нависли над Исаакием, точно неразрешенные противоречия в поздних трактатах Шопенгауэра. Все в этом мире подчинено строгому ритму, скрытому от глаз профанов».

В этот момент за соседним столиком произошло нечто из ряда вон выходящее. Молодой человек в нелепой кепке, пытаясь достать из бумажника карту, нечаянно выронил на пол старинную монету. Та со звоном покатила к ногам Платона Пантелеймоновича.

– О, юноша, – пропел Похотливый, поднимая предмет, – вы обрели не просто металл. Это же редчайший кунштюк. Знаете ли вы, что само это слово, пришедшее к нам из немецкого (Kunststück), означает не просто ловкий фокус или антикварную вещь? В широком смысле – это искусство искусности, некая диковинка, механизм, созданный для удивления чувств. В XVIII веке кунштюком называли и сложную табакерку с секретом, и акробатический кульбит, и даже хитроумную политическую интригу.

Юноша растерянно кивнул, но Платон Пантелеймонович уже не мог остановиться. Его глаза подозрительно заблестели, а голос из бархатного баритона начал превращаться в вязкий шепот.

– Кунштюк, милейший, всегда подразумевает наличие скрытого механизма. Пружинки. Понимаете? Вот и в политике так же: жмешь на одну кнопку – вылетает птичка, а на деле – аннексия территорий. А взять, к примеру, женщин... Ведь любая баба – это тот же кунштюк, только без инструкции по эксплуатации. И если у монетки этой ребро гладкое, то у какой-нибудь Людки из овощного все нутро в зазубринах, честное слово.

Платон Пантелеймонович подался вперед, обдав собеседника запахом дешевого коньяка, который внезапно проступил сквозь аромат парфюма.

– Вы вот на чеканку смотрите, а я вижу суть. Любой кунштюк требует смазки. И баба требует. Только не масла, а чтобы ей в уши всякую дрянь заливали, пока она ноги не раскинет, как циркуль на уроке геометрии. Я вчера такую «диковинку» в трамвае за приметил – фифа в шляпке, а глаза – как у голодной кобылы. Иду я за ней, значит, и думаю: какой бы мне кунштюк проверить, чтоб она свой «секретный механизм» разомкнула?

Голос Похотливого сорвался на хрип. Пенсне сползло на кончик носа.

– Подваливаю, стало быть, и говорю: «Мадам, у вас шнурок развязался». Она нагибается – и вот он, истинный кунштюк природы! Корма такая, что никакой Шопенгауэр не опишет. Я ей сразу про метафизику, мол, разрешите в ваш внутренний мир заглянуть со всем моим философским энтузиазмом. А она мне – сумкой по харе. Вот вам и все изящные искусства, сударь. Весь мир – сплошная кунсткамера, где вместо экспонатов – потасканные девки с претензией, а вместо науки – сплошное непотребство под одеялом. Тьфу!

Платон Пантелеймонович сунул монету в карман в качестве платы за лекцию, вытер вспотевший лоб несвежим платком и снова уставился в окно, где дождь продолжал омыwać грешную землю, столь не соответствующую его высоким идеалам.

Купажирование, купаж

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, окутанный облаком собственного величия и ароматом пережаренной арабики. Его чело, изборожденное думами о судьбах Отечества, казалось монументальным. Вокруг суетились «маленькие люди» с их ничтожными заботами, но Платон Пантелеймонович созерцал сущее. В его голове проносились образы античных портиков и геополитических узлов, которые он, несомненно, развязал бы одним движением брови.

– Суть бытия, – цедил он сквозь зубы, глядя на прохожих, – есть не что иное, как стремление хаоса к упорядоченности. Мы все – лишь искры в горниле истории.

Случайное событие, перевернувшее этот философский алтарь, было тривиальным: официант за соседним столиком, бледный юноша с дрожащими руками, смешивал в стеклянном графине два вида лимонада.

Платон Пантелеймонович замер. Его взгляд остекленел.

– Купажирование... – прошептал он, и в этом шепоте уже слышался скрежет зубовый. – О, невежественная толпа! Вы пьете и не знаете, что в этом сосуде происходит таинство смешения. Купаж! Это же не просто сливание жидкостей. Это искусство облагораживания посредственного за счет превосходного. Чтобы скрыть изъяны одного сорта вина или коньяка, к нему добавляют другой, дабы создать букет, превосходящий сумму его частей. Ассамбляж, если угодно!

Он подался вперед, обращаясь к испуганному официанту, который всего лишь пытался не пролить сироп.

– Понимаешь ли ты, отрок, что купаж в чае – это когда терпкий индийский Ассам встречается с нежным китайским Кимуном, чтобы смягчить его горечь? Это как в жизни: мы берем лучшее от разных миров, чтобы получить гармонию. Но гармония... – голос Похотливого внезапно хрипнул, а глаз начал дергаться, – гармония – это ведь всегда про тела, верно?

Он обвел зал тяжелым взглядом. Высокопарность начала осыпаться с него, как дешевая штукатурка.

– Ведь и бабы – они же как этот ваш купаж. Возьмешь одну – вроде и ноги есть, а в голове пусто, как в дырявом чайнике. Приходится ее, так сказать, «ассамблировать» с другой, у которой хотя бы корма пошире и гонор потише. Купажирование девок – вот настоящая наука! Вот я вчера видел одну на остановке. Спереди – чистый цейлонский высший сорт, упругая, крепкая, а как заговорила – ну чисто полынь голимая, пить нельзя. Ей бы подмешать соку от той рыжей из овощного, у которой томность в глазах и ляжки такие, что никакой сахар не нужен.

Платон Пантелеймонович уже не шептал. Он почти рычал, и его лексика стремительно катилась в сточную канаву.

– Вы думаете, погода плохая? Нет, это просто купаж дерьмовый! Небо серое, как морда у моей бывшей, когда я ей в компот подлил коньяку для «улучшения букета». А она, дура, не оценила тонкости процесса. Купаж – это когда ты берешь сочную телку с Думской и смешиваешь ее с интеллигентной невротичкой из библиотеки, чтобы на выходе получить идеал, который и в постели как кобыла, и Шопенгауэра тебе процитирует, пока ты ее за загривок держишь.

Официант попятился. Похотливый ударил кулаком по столу, расплескивая кофе.

– Вся мировая политика – это попытка вдуть одной нации через другую! Купаж интересов! Смешивают они, понимаешь, нефть с кровью, а получается все равно какая-то шняга непотребная, ни сисек, ни души! А я стою, смотрю на этот мир и понимаю: пока вы тут свой чай бодяжите, настоящие знатоки уже давно вывели формулу идеальной бабы путем скрещивания бульдога с носорогом, лишь бы она не орала, когда ты ей в рожу своим «купажом» тычешь!

Он тяжело задышал, вытирая пот со лба засаленным платком. Его эрудиция окончательно превратилась в липкую субстанцию.

– Принеси-ка мне еще водки, парень. И смешай ее с пивом. Сделаем, так сказать, пролетарский купаж «Ерш». Чтобы встало так же крепко, как та разведенка из третьей парадной, у которой в роду, судя по всему, и татары, и матросы перепутались в такой ядреный замес, что аж кости хрустят.

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула. В его глазах снова вспыхнул огонек «философа», но теперь это был блеск сального фонаря в темном переулке.

Куртуазность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой безвкусного рафа. Он взирал на мир сквозь пенсне с таким выражением лица, будто только что лично завершил перевод неопубликованных рукописей Эразма Роттердамского. Вокруг царил весна – это досадное время года, когда природа, по мнению Платона Пантелеймоновича, ведет себя излишне развязно, но скрывает это под вуалью эстетики.

– Ах, какая метафизика света! – прошептал он, глядя на то, как солнечный зайчик дрожит на скатерти. – Чистота линий, почти что платоновский идеал. Мир – это ведь не более чем собрание тонких смыслов, которые мы, люди высокого полета, обязаны каталогизировать.

Его мысли текли плавно, касаясь то проблем девальвации духовности, то тонкостей куртуазной любви. Именно куртуазность была его любимым коньком. Он представлял, как в XII веке благородный рыцарь, изнывая от высокого томления, служит своей Даме Сердца.

«Куртуазность, – размышлял Платон Пантелеймонович, – это ведь не просто вежливость. Это сакральная дистанция! Это культ Прекрасной Дамы, где страсть сублимирована в поэзию. Рыцарь не смеет коснуться даже края плаща госпожи без трепета. Это служение, это вассалитет духа, где каждый вздох – это сонет, а каждый взгляд – теологический диспут. Как это бесконечно далеко от нынешней суеты...»

В этот момент за соседним столиком официантка, молодая особа в тесном фартуке, случайно задела подносом край стола, и несколько капель карамельного сиропа упали на лакированный ботинок Платона Пантелеймоновича.

Он вздрогнул. Окуляры пенсне злоебно блеснули.

– Милочка, – начал он голосом, в котором еще вибрировали струны лиры, – вы нарушили геометрию моего пространства. Но не вините себя. Это ведь тоже акт... своего рода куртуазный жест, если смотреть шире. Рыцарь принимал от дамы даже удар плетью как благословение. Хотя, если вдуматься, вся эта ваша куртуазность – лишь тонкая позолота на грубом остоле природы.

Он наклонился к ботинку, но взгляд его, минуя пятно, зацепился за щиколотку официантки. Логическая цепочка в голове Платона Пантелеймоновича щелкнула и начала стремительно перестраиваться.

– Ведь что такое куртуазность? – продолжал он уже громче, и голос его начал заметно хрипеть. – Это же просто прелюдия, затянувшаяся до идиотизма. Мы поем оды глазам, чтобы скрыть, что нас трясет от желания заглянуть под юбку. Вы, барышня, капнули сиропом, и вот он, липкий символ! Тягучая, сладкая субстанция... Как и все бабье племя, право слово. Сначала строите из себя недотрог, читаете Пастернака, а сами только и ждете, когда вас прижмут в темном углу за пыльными портьерами.

Платон Пантелеймонович сорвал с шеи шелковый платок. Его лицо пошло багровыми пятнами.

– Вся эта ваша «культура» – пшик! Чисто поржать. Рыцари-то, думаете, стишки читали и по домам расходились? Да они в своих замках такое вытворяли, что у любого трубадура лютня бы треснула. Куртуазность – это когда ты ей «мадмуазель», а в башке уже картинка, как она, потная и растрепанная, орет на сеновале. Че ты на меня смотришь, шалава кофейная? Думаешь, я не вижу, как ты бедром крутишь, пока заказы разносишь? У тебя же на лбу написано: «Хочу, чтоб меня оттащили за подсобку и хорошенько проучили». Сироп у нее капнул... Знаем мы эти ваши капли. Природа-то, она ведь прет, ее в корсет не засунешь. Ты же баба, у тебя нутро горит, тебе не куртуазность нужна, а чтобы мужик тебя за заправку взял и...

Платон Пантелеймонович внезапно осекся, заметив, что администратор заведения уже кладет ему руку на плечо. Он поправил пенсне, которое теперь сидело криво, и мгновенно вернул лицу выражение глубокой скорби о судьбах человечества.

– Впрочем, – добавил он, брезгливо вытирая ботинок, – нынешнее поколение утратило способность к деликатному восприятию символизма. Пойду. Тут слишком душно от отсутствия истинной культуры.

Он вышел на улицу, и по его походке – нервной и какой-то дерганой – было видно, что в его голове «куртуазный вассалитет» окончательно проиграл битву за сеновал.

Лабильность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так сильно, словно удерживал ими по меньшей мере государственную тайну. Перед ним лежал свежий номер «Вестника Эрудиции», а в воздухе витал дух высокой культуры и легкой плесени.

Платон Пантелеймонович считал себя хранителем интеллектуальных рубежей. Его мысли текли плавно, как застывающий гудрон. «Мир, – думал он, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность категорий, которые мы, люди духа, обязаны классифицировать. Взгляните на этот занавес: разве это не метафора нашей экзистенции? Ткань бытия тонка, но тяжела...»

Он отхлебнул кофе, мизинцем указывая в зенит, и замер в созерцании. Мир казался ему странным зданием, где каждый кирпичик был аккуратно обернут в латынь.

Но тут случилось непоправимое.

За соседним столом юная барышня в нежно-голубом капоре внезапно расплакалась над недоеденным пирожным, а через секунду – о ужас! – звонко расхохоталась, увидев в окне пуделя в ботинках.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его левый глаз мелко задергался.

– Вы видите? – обратился он к официанту, хватая того за пуговицу жилета. – Вы наблюдаете эту хрестоматийную лабильность? Вот она, текучесть психики, неустойчивость настроения, когда аффект меняется быстрее, чем цены на биткоин! Это же чистейшей воды подвижность нервных процессов, когда торможение не успевает за возбуждением. Человек – как флюгер в бурю!

Официант попытался отстраниться, но Платон Пантелеймонович уже оседлал своего коня.

– Лабильность, мой милейший, – продолжал он, и голос его начал подозрительно хрипеть, – это когда психика скачет, как коза по оврагам. Сейчас она плачет, потом пляшет, а еще через минуту... через минуту эта лабильность приводит нас к самому главному. К их женскому естеству, будь оно неладно!

Он подался вперед, обдав официанта запахом кофе и фанатизма. Его высокопарный тон начал осыпаться, как старая штукатурка, обнажая немытую кирпичную кладку.

– Вот ты думаешь, она по пирожному или пуделю сохнет? Хрен там плавал! Это ж механизм такой: сначала она тебе глазки строит, губки дует – вся такая «лабильная», воздушная, а сама уже прикидывает, как бы поудобнее на коленки пристроиться. У них же все через это... через лабильность. Сегодня она читает Блока, а ночью у нее в башке только одно: как бы юбку задрать повыше да чтобы жеребец какой-нибудь покрепче за филей схватил.

Глаза Платона Пантелеймоновича налились кровью, пенсне съехало на кончик носа.

– И вот эта лабильность, понимаешь, она же в чем? В том, что баба – существо потное, жадное до срамного дела. Она тебе про слезы поет, а у самой внизу уже все кипит, как щи у мачехи. Тьфу! Нацепят кружева, а под ними – мясо, кожа да вопли кошачьи. Им бы только прижаться, обслюнявить, да чтобы пот градом по спине, когда она ногами тебя за поясницу обхватит, сука лабильная...

Он тяжело задышал, глядя в пустую чашку, где на дне осталась лишь коричневая гуща. Официант, перекрестившись, исчез на кухне.

Платон Пантелеймонович вытер вспотевший лоб газетой и снова поджал губы.

– Дикари-с, – буркнул он, возвращаясь к образу столпа общества. – Совершенно не понимают тонкостей человеческой психики.

Ламинарность

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей холостяцкой обители, заложив руки за спину, и взирал на весеннюю петербургскую слякоть с тем философским прищуром, который обычно свойственен людям, прочитавшим две страницы Шопенгауэра и недовольным качеством отечественного паштета. Мир вокруг казался ему несовершенным чертежом, требующим высшей правки.

– Гармония, – изрек он в пустоту комнаты, поправляя пенсне, которое держалось на его переносице исключительно на честном слове и слове кожного сала. – Все в этом подлунном мире жаждет упорядоченности. Взгляните на этот ручей, бегущий по сточной канаве. Какая чистота линий! Какое отсутствие завихрений!

В этот момент соседка сверху, женщина грубая и обделенная метафизическим чутьем, резко выплеснула из окна таз мыльной воды. Спокойный поток в канаве вскипел, забурлил, превратился в хаотичное месиво пузырей и сора.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Лицо его пошло пятнами цвета перезрелой свеклы.

– Боже мой, – прошептал он, и в голосе его послышались нотки фатального надлома. – Они разрушили ламинарность! Вы только посмотрите, как бесцеремонно нарушено число Рейнольдса! Ведь ламинарное течение – это же высшее проявление благородства материи. Это когда слои жидкости скользят друг относительно друга, не перемешиваясь, плавно, как шелк по мрамору. Никаких тебе пульсаций давления, никакой хаотичной диффузии. Чистая геометрия покоя!

Он вцепился в подоконник, и его высокопарный тон начал подозрительно вибрировать.

– А теперь что? Турбулентность! Хаос! Вихри, мать их за ногу... А ведь если вдуматься, господа, – обратился он к воображаемой аудитории, – вся эта ваша физика жидкостей – она же и в бабах сидит. Вот взять, к примеру, бабу обыкновенную, приличную. Идет она по улице – ламинарная такая вся, ножки параллельно, слои юбки не перемешиваются, филейная часть колышется строго в заданном векторе. Красота? Красота. Число Рейнольдса ниже критического, душа радуется.

Платон Пантелеймонович облизнул пересохшие губы, и взгляд его окончательно утратил печать интеллекта, сменившись маслянистым блеском.

– Но стоит только плеснуть в этот сосуд каплю... кхм... возмущения, как начинается чертовщина. Вот та же Маринка из десятой квартиры. Вчера зашла, кобыла, за солью. Вроде ламинарная была, пока в коридоре стояла. А как халат распахнулся – все, пошла турбулентность по всем фронтам! Слои-то перемешались, пульсация такая началась, что у меня самого прибор зашкалил. Там уже не слоистое течение, там такие вихри в ложбинках, что никакой вязкостью не удержишь. Липкое все, бурлит, прет наружу, как дрожжи из нужника. Глядишь на нее – и понимаешь: нету в женщине этой вашей физической чистоты, один сплошной хаос и неуправляемое соитие молекул в самых неприличных позах. Тьфу, сплошной гидродинамический разврат!

Он тяжело задышал, глядя на пузырящуюся жижу в канаве, и добавил уже совсем сипло:

– Опять, небось, с сантехником в подвале критическую точку проходит, вихри свои нечестивые крутит...

Лапидарность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто лично аттестовал мироздание на предмет соответствия высшим истинам. Над его залысиной, блестящей как бильярдный шар из слоновой кости, витал дух античной строгости. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации. Перед ним лежал свежий номер газеты, и каждое слово в колонке редактора казалось ему излишне рыхлым, бесформенным, недостойным величия человеческого разума.

– Лапидарность, – прошептал он, смакуя слог. – Вот чего не хватает современному веку. Лапидарность – это ведь не просто краткость, это искусство высекать искру мысли из холодного камня. От латинского *lapis* – камень. Римляне писали на плитах, и там не было места для мелкотравчатой суеты. Только суть, застывшая в вечности. Прямолинейно, твердо, непоколебимо.

Он окинул презрительным взором официанта, который слишком долго объяснял даме за соседним столиком состав облепихового чая. «Многословие – признак дегенерации», – отметил Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне.

В этот момент произошло событие ничтожное, но фатальное. Уборщица в синем халате, размахивая шваброй, сбила с подоконника глиняный горшок с геранью. Горшок с сочным хрустом лопнул, явив миру мокрый ком земли и спутанные корни.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. В его мозгу щелкнуло реле.

– Посмотрите на это, – пробормотал он, и его голос обрел зловещую вкрадчивость. – Вот она, подлинная лапидарность бытия. Резкий удар, краткий звук – и нутро выставлено на обозрение. Как глубоко, как... символично. Ведь и женщина, если разобраться, устроена по тому же лапидарному принципу. Снаружи – холодный мрамор фасада, претензия на античную статую, а ткни ее посильнее – и сразу лезет рыхлая земля.

Он подался вперед, и его глаза, еще минуту назад светившиеся разумом, подернулись мутной пленкой.

– Лапидарный стиль, друзья мои, это ведь когда все лишнее отсечено, и остается одна голая, бесстыжая функция. Зачем нам эти кружева слов, когда природа требует лаконичного жеста? Вот идет бабища по улице, колышется вся, как холодец на блюде. Какая уж там лапидарность! Ей бы, дуре, по хребтине палкой перетянуть, чтоб сразу поняла: жизнь – это не вздохи на скамейке, а короткий, емкий мат.

Платон Пантелеймонович облизал губы. Его мысли понеслись вскачь по ухабам физиологии.

– Чего они ломаются? Изъясняются туманно, хвостами крутят. А ведь любая из них в глубине души мечтает о лапидарном подходе. Чтобы пришел мужик, взял за шкурку, как кошку помойную, и без лишних предисловий – в койку. Краткость – сестра таланта, а в этом деле – и мать родная. Хрясь – и в дамки. Никаких тебе «ах, оставьте», «ах, погода». Скинула шмотки – и работай, пока пот не залил zenки.

Он уже не замечал, что говорит вслух, и соседние столики начали потихоньку пустеть.

– Вся эта ихняя «красота» – пфу! Маркетинг для лохов. Суть-то проста: две ноги, одно отверстие и вечный зуд в подкорке. Лапидарно? Более чем! А они мажутся, красятся, будто не знают, что в итоге все сведется к потному сопению и задравшемуся подолу. Грязь, господа, это и есть самая честная форма существования. Мы все из нее вылезли, в нее же и засунем... что бог послал.

Платон Пантелеймонович шумно выдохнул, вытер вспотевший лоб газетой и снова замер, глядя в пространство. Он был абсолютно убежден в своей правоте. Мир был прост, как удар кирпичом по голове, и столь же лапидарен.

Латентность

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Элегия», придерживая мизинец над чашкой безвкусного рафа. Он взирал на мир сквозь пенсне с той печальной мудростью, которая доступна лишь людям, прочитавшим в юности два тома Гегеля и твердо решившим, что остальное – суета. За окном проплывала петербургская весна: серая, как костюм столичного урбаниста, и неопределенная, как сроки выполнения национальных проектов.

– Как метафизичен этот туман, – думал Платон Пантелеймонович, поправляя шелковый галстук. – В нем скрыта сама суть бытия – некая трансцендентная неопределенность, заставляющая нас искать опору в вечном.

В этот момент за соседним столом произошла незначительная оказия. Официант, юноша с тонкими запястьями и испуганным взором, споткнулся и пролил каплю сливок на ботинок грузного господина в кожаном плаще.

– Пардон, – пискнул юноша.

– Смотреть надо, куда прешь, – буркнул господин, вытирая ботинок салфеткой с такой яростью, будто стирал пятно с собственной репутации.

Глаза Платона Пантелеймоновича внезапно сузились. В его мозгу, забитом цитатами и эротоманией, шелкнул невидимый тумблер.

– Вот оно, – произнес он вслух, обращаясь к пустой сахарнице. – Латентность в чистом, дистиллированном виде. Видите ли вы, друзья мои, этот скрытый потенциал подавленного? Ведь этот господин в коже не просто злится на сливки. Он борется с Бездной внутри себя.

Он подался вперед, и голос его из бархатного баритона начал превращаться в вязкий шепот.

– Латентность – это ведь не просто медицинский термин, это, матушка моя, когда у тебя внутри зудит, а ты делаешь вид, что читаешь Канта. Это когда человек орет на официанта, а на самом деле мечтает, чтобы его самого отшлепали этой самой салфеткой. И чем сильнее он вытирает сапог, тем яснее я вижу: в душе у него не кожаный плащ, а кружевные панталоны в цветочек.

Стиль Платона Пантелеймоновича начал стремительно линять, как дешевый ситец под дождем. Благообразная маска сползла, обнажив лицо человека, который слишком долго подглядывал в замочные скважины.

– И все у нас так! – продолжал он, уже не стесняясь в выражениях. – Посмотришь на бабу – идет, губы поджала, вся из себя институтка, а в глазах – голый призыв к беспорядкам. Латентная потаскуха! Она и зонтик-то держит так, будто это не защита от дождя, а... тьфу! И мировая политика туда же. Все эти санкции, шманкции – это ж просто сублимация. Один недодал, другой недополучил, вот и лязгают гусеницами, потому что в штанах чешется, а признаться стыдно.

Платон Пантелеймонович уже почти кричал, брызгая слюной на скатерть.

– Латентность – это когда ты хочешь завалить соседку на сеновал и огулять ее до синевы, а вместо этого идешь голосовать за партию порядка. И чем громче ты орешь про мораль, тем больше у тебя в шкафу всякой дряни: от плеток до фотографий коров в чулках. Вот этот боров в коже – он же сейчас придет домой, запрется и будет нюхать эти вонючие сливки, вспоминая нежные пальчики официанта, потому что признать в себе тягу к женской неге ему воспитание не велит!

Он тяжело задышал, обводя притихшую кофейню мутными глазами.

– Все в мире – сплошная чесотка под смокингом. Мы все – латентные грязнули, прикрытые фиговым листом цивилизации. Дайте мне любую праведницу, и через пять минут я докажу, что она мечтает, чтобы ее зажали в подворотне пьяные матросы. Потому что природа

– она, сука, не в книжках, она в мясе, которое требует своего, пока мы тут сопли на кулак наматываем про высшие сферы.

Платон Пантелеймонович внезапно замолчал, вытер рот рукавом и снова водрузил пенсне на переносицу.

– Впрочем, – добавил он тихим, благовоспитанным голосом, – феноменология духа диктует нам иные паттерны поведения. Официант, принесите счет. И будьте добры, не тритесь задом о мой стул, это... излишне акцентирует вашу скрытую сущность.

Латифундия

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на веранде своей дачи в Комарово, обложившись томами античных классиков и свежими выпусками «Аграрного вестника». Вид он имел чрезвычайно благостный: пенсне на шнурке, крахмальный воротничок, впивающийся в украшенный чин-пуфом подбородок, и выражение лица, свойственное человеку, который только что постиг тайну мироздания, но решил пока не пугать ею обывателей.

Солнце золотило пыльные лопухи. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизаций.

– Рим, – шептал он, дегустируя слово как выдержанный херес, – пал не от мечей варваров. Его подточила латифундия. Именно она, эта безбрежная система частного землевладения, погубила свободного пахаря.

В голове его выстраивались стройные ряды исторических справок. Латифундия – это вам не огород в Ленинградской области. Это гигантское поместье, ориентированное на экспорт, где труд рабов заменяет рвение собственника. Когда богачи скупили все, превратив Италию в пастбища и оливковые рощи, дух республики испустил последнее дыхание. Крестьянин ушел в город за бесплатным хлебом и зрелищами, а земля стала лишь средством накопления капитала. «Широкие поля погубили Италию», – говаривал Плиний Старший, и Платон Пантелеймонович был с ним совершенно согласен, потирая пухлые ладони.

В этот момент идиллия была нарушена. Соседская девка Акулина, девица кровь с молоком и умом с наперсток, вышла к колодцу. Она была в коротком сарафане, а в руках держала огромное ведро, которое с грохотом опустила на сруб.

Платон Пантелеймонович дернулся. Его мысль, только что парившая над Капитолийским холмом, совершила крутое пике.

– Вот! – воскликнул он, подавшись вперед так, что кресло жалобно скрипнуло. – Взгляните на эту экспроприацию пространства! Акулина и ее ведро – это же в миниатюре та самая земельная ненасытность. Ведь что такое латифундия в своей сути? Это желание владеть огромным, необъятным, сочным куском, который нельзя обработать в одиночку, но на который хочется навалиться всей тушей своего капитала.

Он облизнул губы, и в его глазах зажегся нехороший, маслянистый огонек.

– Гляньте, как она гнется за водой. Эта ее... конфигурация тыла... это же чистая Южная Америка девятнадцатого века! Там латифундисты захватывали площади такими же округлыми мазками. Земли много, она рыхлая, податливая, только и ждет, чтобы в нее вонзился плуг жестокого собственника. И ведь Акулина, шельма, ведет себя как типичный олигарх: выставила свои «угодья» на всеобщее обозрение, дразнит, понимаешь, мелкого арендатора.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, а его стиль начал стремительно линять, как дешевый ситец под дождем. Крахмальный воротничок окончательно сдался под напором пота.

– А груди-то, груди! – прохрипел он, уже не глядя в книгу. – Это же две отдельные асьенды! Каждая требует своего надсмотрщика с кнутом. Вот ты какая, латифундия проклятая! Развалилась на полсела, колышется, соками брызжет. Тебе бы все объемы наращивать, чтоб мужик в твоих пашнях утоп, как в болоте. Ты ж не огород, тебя за день не вспашешь, тут трактор нужен, а лучше – батальон штрафников, чтоб до самого горизонта пахали эту мясистую целину!

Он вскочил, опрокинув столик с «Аграрным вестником».

– Слышь, латифундистка хренова! – заорал он, перевешиваясь через перила. – У тебя ж там чернозем непаханный, лопухами зарос! Иди сюда, я тебе устрою аграрную реформу! Я тебе покажу, как концентрация капитала в одних руках доводит до цугундера! Распустила свои

гектары, дышать нечем, все небо загородила своими буферами... Дай хоть за межу подержаться, я ж как безземельный пролетарий сохну!

Акулина, привыкшая к странностям сексуально озабоченного соседа, лишь поправила подол и пошла прочь, покачивая «угодьями». Платон Пантелеймонович рухнул обратно в кресло, тяжело сопя и глядя на пустую страницу о Плинии Старшем.

– Погубили... – пробормотал он, вытирая пенсне. – Широкие поля... Ох, какие широкие... и ведь ни одного забора не поставишь, все равно вываливаются.

Левитация

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей заставленной фолиантами гостиной, облаченный в бархатный шлафрок цвета «я якобы учился в Сорбонне». Взгляд его, подернутый дымкой экзистенциальной грусти, покоился на зимнем петербургском небе.

«Мир есть лишь совокупность тонких вибраций, – размышлял он, поправляя пенсне. – Мы все – пленники грубой материи, и лишь дух, очищенный познанием, способен преодолеть оковы земного тяготения».

Он готовил статью. Предмет был возвышен и эфирен – левитация. Платон Пантелеймонович уже набросал в уме первые тезисы о «сиддхи», индийских йогах и таинственном феномене святого Иосифа из Купертино, который, как известно, в порыве благочестия взмывал к самым люстрам, пугая прихожан и досаждая уборщицам.

«Левитация, – думал он, – это ведь не просто фокус. Это торжество метафизики над физикой. Это когда плотность эфира в данной точке пространства под воздействием ментальной воли превышает давление атмосферного столба. По сути, человек становится легче собственного выдоха...»

В этот момент за окном произошло событие ничтожное, но роковое. Соседка из дома напротив, девица тевтонской наружности и сокрушительных форм, высунулась из окна, чтобы вытряхнуть пыльный коврик. При очередном взмахе она неловко качнулась, потеряла равновесие и на секунду – буквально на краткий миг – зависла в воздухе, прежде чем благополучно (и весьма шумно) рухнуть в сугроб.

Платон Пантелеймонович замер. В его глазах отразился полет.

– Вот оно! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона вдруг превратился в дребезжащий фальцет. – Прямая демонстрация закона антигравитации через призму женского естества! Ведь что есть левитация, если не высшая форма кокетства с мирозданием?

Он заходил по комнате, лихорадочно потирая руки. Стиль его мыслей начал стремительно мутировать, теряя кружева и приобретая отчетливый запах подворотни.

– Ведь возьмите бабу, господа, – забормотал он под нос, обращаясь к невидимой аудитории. – Баба – она по природе своей есть объект, стремящийся к полету. Почему? Да потому что в ней пустоты больше, чем в вакуумном насосе! Когда эта мадам вывалилась из окна, ее юбки надулись, создав аэродинамическую подушку, а похоть, скопившаяся в ее чреслах, сработала как реактивный двигатель. Это же физика, мать ее за ногу!

Платон Пантелеймонович сорвал пенсне и плюнул на паркет.

– Ученые дураки ищут энергию в атомах, а искать надо в бабьей ляжке! Вы посмотрите, как они ходят – виляют задом, создавая завихрения в ноосфере. Если бы эту Фроську из дома напротив хорошенько раззадорить в сеновале, она бы не в сугроб упала, а на Луну бы улетела, как пробка из-под дешевого сидра. Потому что бабья натура – это сплошной газ и сквозняк. Левитация – это когда ты ее за филей берешь, а она от удовольствия в потолок всасывается, как вату в пылесос тянет.

Он прижался потным лбом к стеклу, высматривая в сугробе копошащуюся девицу.

– И никакой тут святой Иосиф не нужен. Дай мне крепкую девку с низкой социальной ответственностью, привяжи к ней пару кирпичей для балласта – и я вам такую метафизику устрою, что все йоги в Ганге утонут от зависти. Все эти высшие сферы – это просто предлог, чтобы задрать подол повыше. Дух парит, а потные подмышки тянут ввысь... Тьфу, опять гравитация победила, вон, поползла, корова, задом крутит. А ведь могла бы, стерва, парить аки херувим, если бы не грехи ее тяжкие и не рейтузы с начесом...

Платон Пантелеймонович тяжело вздохнул, оделся и вышел на улицу – раздобыть водки и чего-нибудь «мясистого». Постижение тайн мироздания всегда вызывало у него зверский аппетит.

Летаргия, летаргический сон

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия». Перед ним лежал свежий номер «Вестника спиритизма», а в голове теснились мысли столь высокие, что они едва не задевали люстру.

Платон Пантелеймонович мнил себя последним оплотом метафизики в этом грубом, насквозь просоленном бытом мире. Он смотрел на прохожих сквозь пенсне с таким выражением, будто видел не людей, а плохо прорисованные идеи в эманациях мирового духа.

– Ах, – шептал он, потирая сухой висок, – как скуден нынче экзистенциальный ландшафт! Люди бегут, не замечая тонких материй, окутывающих наше бренное бытие, подобно тончайшему флеру на плечах... кхм, богини.

В этот момент за соседним столиком произошло нечто из ряда вон выходящее. Старичок-профессор, мирно читавший лекцию своей внучке, внезапно замер, уронил голову на грудь и издал храп, напоминающий стон раненого тюленя. Внучка закричала: «Дедушка, это опять летаргия!»

Платон Пантелеймонович восторженно вскрикнул. Слово «летаргия» ударило его в самый центр его специфического просветительского аппарата. Он тут же принял позу наставника человечества и, обращаясь к перепуганной официантке, начал вещать гулким баритоном:

– Не пугайтесь, дитя. Летаргия, или, как говорили древние, «мнимая смерть» – это уникальное состояние патологического сна. Организм замедляет все процессы: дыхание едва уловимо, пульс – как совесть у создателя скам-коина, не прощупывается. В истории медицины были случаи, когда несчастных закапывали заживо, и они пробуждались в тесных объятиях дубовых досок... – Он на мгновение зажмурился, и его лицо исказилось странной судорогой. – Гробовая тишина, темнота, и ты лежишь там, стиснутый со всех сторон, совсем как в тот раз с той девицей в багажнике каршеринга...

Голос Платона Пантелеймоновича утратил салонную бархатистость и приобрел наждачный оттенок.

– Ведь что такое летаргия по сути? Это когда тело вроде мертвое, а внутри все зудит и просит. Вот вы говорите – замедление метаболизма. А я скажу – это чистой воды бабье коварство природы! Женщина – она ведь тоже в некотором роде летаргический объект. Лежит такая, глазами хлопает, будто в коме, а сама только и ждет, когда ты к ней с эрудицией подкаатишь, чтоб потом выкачать из тебя все соки, как пылесос «Вихрь».

Он подался вперед, обдавая официантку запахом дешевого одеколона и вчерашнего коньяка.

– Знаете, почему летаргический сон так опасен? Потому что проснешься, а зубы-то уже не те, и мошонка до колен, а кругом – одни профурсетки в коротких юбках, и ни одна не оценит твоего внутреннего устройства. Я вчера видел одну такую у аптеки... У нее ляжки были такие рыхлые, будто их из манной каши слепили и об пол ударили. И вот она стоит, корова, смотрит на меня, а я думаю: «Милочка, тебе бы не в аптеку, тебе бы в летаргию лет на сорок, чтоб лицо хоть немного разгладилось об подушку».

Платон Пантелеймонович сорвал с шеи галстук-бабочку, который внезапно стал ему тесен.

– Вся эта ваша медицина – туфта! Летаргия – это когда девка прикидывается бревном, чтоб ты перед ней распинаясь, цветы покупал, Канта цитировал, а у нее в голове только одно – как бы половчее ухватить тебя за кошелек своими потными, когтистыми лапками. Тьфу! Да я бы сам сейчас заснул на век, лишь бы не видеть эти морды, которые только и знают, что юбками крутить да духами вонять, от которых у порядочного мыслителя мигрень и стояк одновременно!

Он грохнул кулаком по столу, перевернув кофейник. Старичок-профессор за соседним столом от испуга тут же вышел из летаргии, а Платон Пантелеймонович, тяжело дыша и вытирая вспотевшую затылочную часть, снова нацепил пенсне и брезгливо посмотрел на окружающих, как на некачественный биоматериал.

Лидогенерация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне и с безгловым изяществом листал финансовый еженедельник. Его лоб, высокий и чистый, как свежесмысленная печь, морщился от напряжения – Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации.

– Мир – это стройная симфония смыслов, – шептал он себе в козлиную бородку. – Все в нем подчинено закону притяжения и конверсии духа. Мы лишь искры в горниле бытия, ищущие отклика в бескрайней пустоте рынка...

В этот момент за соседний столик присел молодой человек с ноутбуком и громко произнес в телефон:

– Слушай, у нас по этой кампании лидогенерация просела! CPL зашкаливает, а лиды – сплошной «мусор». Надо срочно менять оффер.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «лидогенерация» вошло в его сознание, как раскаленный гвоздь в эскимо. Он медленно повернулся к юноше, и его глаза, еще секунду назад светившиеся светом античной философии, подернулись мутной влагой.

– Лидогенерация, говорите? – вкрадчиво начал он, и голос его приобрел тембр старой волюнки, на которой играют в подвале. – Как это тонко, милостивый государь. Ведь что есть лидогенерация, если не высшая форма обольщения? Это процесс поиска потенциального интереса, сбор контактов тех, кто готов вступить с вами в... так сказать, транзакцию. Вы расставляете сети, вы выстраиваете воронку продаж – от широкого охвата до узкого горлышка, где происходит само соитие... то есть, я хотел сказать, покупка.

Юноша опешил, а Платон Пантелеймонович, уже не сдерживаясь, подался вперед. Галстук его съехал набок.

– Вы же понимаете, – зачастил он, – что лид – это как та вдовушка из третьей парадной. Она вроде и оставила вам свой номер телефона через форму обратной связи на лендинге, но это еще не значит, что она ваша! Нужно «прогреть» ее рассылками, дожать ретаргетингом, чтобы она, стерва, поняла: ваш оффер – самый сочный на этом паршивом рынке. Ведь если ваш лендинг не вызывает мгновенной эрекции... потребительского спроса, то грош цена вашему трафику!

Голос Похотливого сорвался на хриплый шепот. Он облизнул губы, в которых уже не осталось ничего от интеллигента, а проступило что-то из темных подворотен окраин.

– А эти ваши «холодные» лиды? – он почти выплюнул это слово. – Это же просто мясо! Гнилое, неподатливое мясо, которое надо мариновать в CRM-системе, пока они не размякнут и не раздвинут... свои кошельки. Ты им закидываешь лид-магнит – ну, какую-нибудь бесплатную дрянь, чек-лист или пробник, – и они, как голодные сучки, бегут на запах. А ты их потом – хвать за куки! И крутишь, крутишь рекламу, пока они не взмолятся о пощаде и не нажмут кнопку «купить».

Платон Пантелеймонович внезапно вскочил, опрокинув чашку остывшего рафа.

– CPL у него зашкаливает! Да ты посмотри на них, на этих лидов! Они же все хотят, чтобы их взяли жестко, через прямой маркетинг! Чтобы сегментация была такая, чтобы до самых печенок пробрало! Лидогенерация – это не бизнес, это грязная, потная охота на срам... то есть на спрос! Понимаешь ты, щегол, или тебе показать, как настоящий оффер выглядит?!

Юноша, бледнея, подхватил ноутбук и бросился к выходу. Платон Пантелеймонович остался стоять посреди кафе, тяжело дыша. Он поправил пенсне, которое теперь сидело на его лице как-то вызывающе непристойно, и удовлетворенно хмыкнул:

– Опять отказ. Некачественный лид пошел. Никакой конверсии, одни влажные фантазии о высокой прибыли.

Лизинг

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне и взирал на мир с той меланхолической снисходительностью, которая свойственна лишь людям, нашедшим у себя в юности все симптомы экзистенциального кризиса по Сартру и один раз видевшим издалека профессора философии. В его руках был томик стихов, а в мыслях – судьбы Отечества и эстетика увядания.

– Взгляните, – обратился он к случайному соседу по столику, указывая тонким пальцем на залитую дождем петербургскую улицу, – как природа в своем бесконечном круговороте напоминает нам о тщете сущего. Облака, эти небесные странники, словно идеи Платона, парят над нашей грешной землей, не заботясь о том, возьмем ли мы сегодня зонт или промочим мантию бытия.

Сосед, молодой человек с портфелем, вежливо кивнул:

– Да уж, погода дрянь. А мне еще машину в лизинг оформлять ехать. Весь день насмарку.

Платон Пантелеймонович замер. Глаза его странно блеснули, а благостная маска интеллектуала на мгновение дала трещину, обнажив нечто хищное и влажное.

– Лизинг? – переспросил он, смакуя слово на языке. – Ах, юноша, вы коснулись струны куда более глубокой, чем финансовая сделка. Вы ведь понимаете, что такое лизинг в своей метафизической сути? Это когда объект вожделения принадлежит не вам, но вы имеете право им пользоваться, выплачивая регулярную дань за иллюзию обладания. Это же чистейшая антропология!

Он подался вперед, и его голос из бархатного тенора начал переходить в дребезжащий фальцет.

– Вот возьмем, к примеру, женщину. Ведь женщина – это тоже своего рода долгосрочная аренда с правом последующего выкупа, если, конечно, к тому моменту кузов не проржавеет и ходовая не рассыплется. Вы платите взносы: рестораны, цветы, обещания съездить в Геленджик. Это ваш лизинговый платеж за доступ к... кхм... эксплуатации агрегата. Но собственником-то остается природа или, упаси бог, ее мамаша!

Молодой человек попытался отодвинуть стул, но Платон Пантелеймонович уже схватил его за пуговицу пиджака. Стиль его речи стремительно портился, а терминология приобретала подозрительный душок.

– А страховка? КАСКО, мать его! Вы вкладываете в нее филлеры, ботокс, новые шмотки – это же чистое страхование рисков, чтобы какой-нибудь другой дилер не перекупил ваш контракт или чтобы она не заглохла в самый ответственный момент от внезапной мигрени. Но самое паскудное в лизинге, мой юный друг, это остаточная стоимость. Когда срок договора подходит к концу, вы понимаете, что перед вами потрепанная колымага с пробегом в триста тысяч скандалов, а выкупить ее все равно тянет, потому что привыкли, что она стоит в вашем стойле!

Платон Пантелеймонович брызнул слюной на скатерть и перешел на хриплый шепот, от которого у соседа завяли уши.

– И вот ты сидишь, смотришь на эту «комплектацию люкс», у которой уже фары не светят и бампер обвис, и думаешь: а не взять ли мне новую модель по трейд-ину? Но там же проценты! Там же новый график платежей, новые сапоги, новые выносы мозга! Лизинг – это когда ты юзаешь бабу, пока она блесит, а как только пошли первые проблемы – просто возвращаешь ее маме, пусть сама разбирается с ее ремонтом. Вот она, жизнь, парень! Сплошной пересчет амортизации между ног!

Сосед вырвал пуговицу «с мясом» и бросился к выходу. Платон Пантелеймонович проводил его мутным взглядом, вытер рот салфеткой и снова стал похож на старого аристократа.

– Невежество, – вздохнул он, поправляя галстук. – Совсем молодежь не понимает красоты экономических процессов. А ведь на улице все еще дождь... Словно слезы брошенной соержанки, у которой кончился срок аренды.

Лимитроф

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто каждое зерно арабики проходило его личную идеологическую цензуру. Над ним висела аура суровой интеллектуальной сосредоточенности; серый костюм-тройка облегал его туловище, словно панцирь добродетели, а на колене покоился томик в кожаном переплете.

Мир вокруг казался Платону Пантелеймоновичу рыхлым и недостаточно структурированным. Он смотрел на прохожих сквозь пенсне и думал о судьбах цивилизации, о тектонических сдвигах истории и о том, что нынешнее поколение совершенно утратило вкус к метафизическому созерцанию.

– Ах, – вздыхал он про себя, поправляя галстук, – как мало ныне людей, способных оценить строгую геометрию мысли! Все суета, все тлен, и только ясный разум способен прозреть истину за пеленой обыденности.

Событие, послужившее началом падения, было до смешного ничтожным: официантка, проходя мимо, задела краем подноса газету, лежавшую на соседнем столе. Газета раскрылась на передовице с заголовком: «Политика лимитрофов в Восточной Европе».

Платон Пантелеймонович зацепился взглядом за слово «лимитроф». Его брови взлетели к залысине.

– Лимитрофы... – пробормотал он благостно, словно пробовал на вкус редкое вино. – О, как это глубоко! Как мало обыватель понимает в этом термине. Ведь лимитроф, милейшие вы мои, – это не просто государство, образовавшееся на развалинах империи. Это пограничье души, это буферная зона между хаосом и порядком. Лимитрофы – это территории, которые вечно ищут, к кому бы прислониться, чьим бы протекторатом подкормиться. Они существуют лишь постольку, поскольку их созерцает большой сосед.

Он подался вперед, и его голос, доселе бархатный, приобрел странную, дребезжащую хрипотцу.

– И ведь если вдуматься, – продолжал он, уже не глядя в книгу, а сверля взглядом проходящую мимо даму в узком пальто, – всякая баба по натуре своей – чистейший лимитроф. В ней нет самости, нет суверенитета! Она – пограничное пространство между приличием и грехом. Она стоит такая, вся из себя «независимая», а сама только и ждет, чтобы великая держава в моем лице ввела на ее территорию ограниченный контингент своих... интересов.

Глаза Платона Пантелеймоновича заблестели нездоровым маслянистым блеском. Он отставил чашку, и на его губах заиграла плотоядная ухмылка.

– Вот взять эту, в пальто, – он указал козлиной бородкой, – типичная Эстония в лучшие годы. Гордая, сухая, но мы-то знаем: стоит только нажать на экономические рычаги, стоит только шепнуть про аннексию в темной парадной, как вся ее лимитрофная спесь рассыпается в прах. Она же так и жаждет, чтобы я устроил ей глубокую демаркацию границ! Чтобы я ворвался в ее внутренние воды без объявления войны и показал, что такое настоящий имперский скипетр.

Стиль его окончательно потерял лоск. Платон Пантелеймонович тяжело задышал, расстегивая верхнюю пуговицу сорочки. От бывшего эрудита остался лишь старый сатир с потным лбом.

– Ишь, вышагивает, кобыла породистая! Думает, она субъект международного права? Хрена с два! Ты объект экспансии, милочка. Твои лимитрофные ляжки так и просят, чтоб я их оккупировал по самые помидоры. Я бы тебе устроил такую геополитику на сеновале, что ты бы у меня все пакты о ненападении забыла. Наклонилась бы за пособием по деколонизации, а я тут как тут – со своим вето на твой девичник. Эх, шкура государственного значения, жаль, санкции не позволяют прямо сейчас перейти к акту прямой агрессии в туалете этого заведения!

Он громко хохотнул, вытер рот рукавом пиджака и уставился на испуганную официантку глазами человека, который только что заново перекроил карту мира.

Лубрикант

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей гостиной, облаченный в шелковый халат цвета заветренной севрюги, и с прискорбием взирал на затянутое тучами петербургское небо. Мысли его, подобно тяжелым баржам, величественно дрейфовали в океане мировой истории.

– Взгляните, – обратился он к пустому креслу, в котором, по его представлению, сидела вся мировая интеллигенция. – Это небо напоминает мне упадок Римской империи. Серость, отсутствие ясных ориентиров и эта фатальная влажность, предвещающая крушение основ. Мир, господа мои, страдает от трения социальных пластов! Глобализация – это ведь, в сущности, попытка притереть друг к другу то, что по природе своей шероховато.

В этот момент за окном приземлился голубь и, потеряв равновесие на обледенелом отливе, нелепо заскользил, отчаянно хлопая крыльями.

Платон Пантелеймонович замер. Его зрачки расширились, а благообразная физиономия начала медленно наливаться багровым цветом.

– Вот! – воскликнул он, тыча пальцем в стекло. – О чем я и говорю! Отсутствие должного скольжения губит цивилизации! А все почему? Потому что вы, неучи, даже в быту забыли про великое таинство лубрикации, проще говоря, смазки. Взять хотя бы Зинаиду из второй парадной. Идет, бедрами скрипит, как несмазанная телега времен крепостного права. А ведь достаточно одного тюбика на водной основе, чтобы превратить это мучительное сопротивление в симфонию!

Он нервно заходил по комнате, и его лексикон, доселе напоминавший передовицу дореволюционной газеты, начал стремительно линять.

– Вы же, козлы, даже не понимаете разницы. Есть силикон – это же вещь! Не сохнет, воды не боится, можно хоть в бассейне, хоть в грозу на сеновале кувыркаться. А вы все по старинке, слюни пускаете или, не дай бог, вазелин тащите. Вазелин – это ж смерть презервативу, это ж химия, разъедающая самую суть бытия и латексную плоть!

Платон Пантелеймонович сорвал с шеи галстук. Глаза его горели лихорадочным блеском.

– Если баба «на сухую» идет в бой – это же военное преступление! Лубрикант – это не просто гель, это дипломатия между плотью и плотью. Бывают они с подогревом, чтоб искры из глаз летели, бывают со вкусом клубники, хотя кому нужна клубника, когда там такая жара начинается? Главное – гибридные составы. Это как метис в пятом колене: и скользит долго, и смывается легко, не оставляя пятен на твоей никчемной совести и простынях.

Он прижался лбом к холодному стеклу, тяжело дыша и оставляя на нем мутное пятно.

– Мировая политика, говорите? Санкции? Тьфу! Дайте мне цистерну качественной смазки на глицериновой основе, и я притру любые конфликты. А Зинаида... эх, Зинаида. Если бы она знала, что пара капель пропиленгликоля отделяет ее от статуса богини, она бы не на рынок за картошкой ползла, а скользила бы в мои объятия, как намыленная выдра в прорубь. Без трения, господа. Без лишнего, мать его, трения!

Платон Пантелеймонович замолчал, глядя, как голубь все-таки сорвался вниз. В комнате пахло пыльными книгами и нездоровым предвкушением вечера.

Лукративность

Платон Пантелеймонович Похотливый стоял у окна своей хрущевки, облаченный в бархатный шлафрок, который носил еще его дед. Он взирал на весенний бульвар с той снисходительной грустью, какая свойственна лишь людям, прочитавшим в жизни больше двух книг и понявшим, что третья была лишней. Воздух был прозрачен и чист, как помыслы младенца или, по крайней мере, как финансовая отчетность благотворительного фонда.

«Мир, – думал Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне, – есть лишь совокупность категорий, стремящихся к гармонии. Взгляните на этот свет! Разве не лучезарен он в своем бескорыстии?»

Тут взгляд его упал на свежую газету, где в заголовке жирным шрифтом красовалось слово «лукративный». Похотливый замер. Это слово, пахнущее латынью и банковскими хранилищами, вонзилось в его сознание, словно острая шпилька в мягкое филе.

– Лукративность! – произнес он вслух, обращаясь к пыльной герани. – Какое возвышенное понятие. Происходит от латинского *lucratus* – приносящий выгоду, пользу, доход. В узком смысле это не просто прибыль, а сама суть стяжательства, когда всякая деятельность направлена на извлечение личного гешефта. Это фундамент цивилизации!

Он прошелся по комнате, и его мысль, встав на рельсы железной логики, понеслась в бездну.

– Но позвольте, – продолжал он, и его глаза подозрительно заблестели. – Разве природа не лукративна в своей основе? Разве солнце светит просто так? Нет, оно инвестирует свои фотоны в рост капусты, чтобы та стала толще. А если мы перенесем этот почтенный термин на человеческие отношения? Ведь женщина, господа, это самый лукративный проект во Вселенной.

Платон Пантелеймонович резко дернул шнурок халата. Приличный член общества внутри него испарился, уступив место существу с совсем иными ценностями.

– Взять хоть бывшую мою, Ньюку из овощного. У нее лукративность в каждом изгибе была прописана, – он сплюнул на ковер, и его слог внезапно утратил бархатистость. – Сидит, бывало, такая вся из себя в кружевах, морду малует, а в глазах – чистый дебет с кредитом. Каждая ее юбка – это инвестиционный портфель, в который я вбухивал бабло, как в черную дыру. И ведь как тонко работала, шельма! Сначала закинет наживку – мол, «ой, Платоша, у меня чулки поползли», а сама уже прикидывает, сколько с этого нытья ей чистой прибыли обломится в виде водки или новых рейтуз с начесом.

Он размашисто зашагал по комнате, задевая локтем антикварную этажерку.

– Это ж чистый бизнес-план на ляжках! Она ж тебя не за душу берет, а за кошелек своими граблями потными тянется. Лукративность у них, видишь ли... Придешь к такой, а она тебе: «Ах, Платон Пантелеймонович, я сегодня не в духе, голова болит». А сама глазом косит – принес ли ты ей колбасы краковской или опять с пустыми руками приперся, кобель облезлый. Тьфу! Весь ихний бабий род – это сплошное акционерное общество по выкачиванию соков из мужика. Ты ей про Канта, а она тебе – про кант на новой юбке, которая подозрительно дорого стоит. Жадные, липкие, в башке только одно – как бы поудобнее на шею присесть и ноги свесить, чтоб икры в тепле были.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, лицо его пошло багровыми пятнами. Он подошел к окну и погрозил кулаком проходящей внизу даме с зонтиком.

– Иди, иди, лукративная ты душа! Знаю я ваш фасон – сверху пудра, а снизу – жажда наживы и потные подмышки!

Он обессиленно рухнул в кресло, поправил пенсне и снова стал грустным эрудитом.

– Да... Дивное слово. Глубокое. Как сама бездна женского коварства.

Лупанарий

Платон Пантелеймонович Похотливый пребывал в состоянии высшего метафизического томления. Облаченный в стеганный халат с кистями, он застыл у окна своей хрущевки, подобно античному изваянию, если бы у изваяний бывали подагрические узлы на пальцах и привычка поминутно поправлять сползающее пенсне.

– О, эта фатальная предрешенность бытия! – вещал он пустому залу, обращаясь к пыльному бюсту Сократа. – Посмотрите на этот петербургский закат. Он напоминает мне обмазанный малиновым вареньем блин. Мир – это лишь воля к насыщению, скрытая под тонким слоем цивилизационного флера.

В этот момент во дворе произошло событие поистине планетарного масштаба: молочница, грузная дама в ситцевом платье с принтом из гигантских огурцов, не удержала в руках бидон. Тот с мелодичным звоном покатился по булыжникам, извергая белую реку.

Платон Пантелеймонович восторгнулся. В его глазах вспыхнул опасный, почти демонический огонек.

– Вы видели?! – вскричал он, прижимая руки к груди. – Молоко! Эликсир жизни! Жидкость, которую сама природа предназначила для вскармливания... и вот она разлита в грязи. Это ли не символ упадка нравов? Это ли не прямой намек на то, что мы окончательно утратили связь с корнями? А ведь корни наши, друзья мои, зарыты глубоко в пыли великих Помпей!

Он нервно зашагал по комнате, и кисти его халата заплясали в такт его разгоряченным мыслям.

– Вы только вдумайтесь в само величие концепции Лупанария! Само слово звучит как рык голодной волчицы в лунную ночь. Те же помпейцы были честнее нас! Они не прятали свои инстинкты за кружевными салфетками. Лупанарий – это ведь не просто публичный дом, это прообраз нынешних бизнес-центров, только с куда более понятными КРП! Заходишь ты, допустим, в заведение, а там над каждой дверью – пиктограмма. Никакого «маркетинга», никаких обещаний «вечной любви» в мессенджерах. Просто и ясно: вот рабыня Агриппина, она делает вот так, а стоит это два асса. Честный бартер!

Платон Пантелеймонович остановился у зеркала и игриво подмигнул своему отражению. Его слог начал заметно «демократизироваться».

– А теперь что? Сплошное кокетство и вынос мозга! А в те времена – благодать. Каменные койки, конечно, жестковаты для моей поясницы, но зато какая атмосфера! Стены расписаны такими сюжетами, что современный цензор лишился бы чувств, а римский сенатор лишь поправлял тогу и деловито уточнял цену. И девицы там были – ух! Не эти ваши диетические нимфы, питающиеся смузи из сельдерея, а настоящие глыбы плоти, пахнущие маслом, вином и легким пренебрежением к морали.

Он мечтательно зажмурился, и его нижняя губа капризно оттопырилась.

– Гляньте на эту молочницу с ее бидоном! Да она же вылитая «лупа» из Древнего Рима, только вместо туники на ней эти ужасные огурцы. Вот бы вернуть те времена: идешь по улице, видишь на стене указатель в форме... хм... недвусмысленного символа, и понимаешь – вот оно, пристанище духа и тела! Там тебя и вином дешевым напоят, и за пухлые щеки потреплют, и никакой философии, кроме одной: жизнь коротка, а девица в соседней «целле» уже заждалась. Все остальное – суета и томление духа, а вот крепкая женская рука на твоём загривке – это, господа, и есть истинная вещь в себе!

Платон Пантелеймонович издал короткий смешок, подозрительно похожий на икание, и начал приплясывать, представляя себя в сандалиях на босу ногу.

Люминесценция

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в сумерках своей гостиной, окруженный томами Гегеля и нераспечатанными выпусками «Вестника Европы». В такие часы он чувствовал себя сосудом, до краев наполненным мировой скорбью и изысканным интеллектуализмом. Он созерцал, как вечерние тени ложатся на пыльный бюст Аристотеля, и мысли его текли плавно, подобно патоке, обволакивая вопросы бытия и небытия.

– Мироздание, – шептал он, поправляя пенсне, – суть лишь хрупкий баланс между светом познания и мраком невежества. Мы лишь искры в пустоте.

В этот момент за окном, в густеющей синеве петербургской улицы, внезапно вспыхнул и затрепетал мертвенно-бледным, зеленоватым светом рекламный короб новой аптеки. Это было явление физическое, почти мистическое – холодный огонь, не рожденный пламенем.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его брови взлетели вверх, как испуганные ласточки.

– О, люминесценция! – воскликнул он, обращаясь к пустому креслу. – Посмотрите на это чудо холодного свечения. Ведь это не банальное накаливание, где энергия тратится на вульгарный жар. Нет, люминесценция – это квантовый переход, когда вещество, поглотив извне энергию – будь то свет, химическая реакция или поток электронов – переходит в возбужденное состояние, а затем возвращается в основной покой, испуская фотон. Это нетепловое излучение, чистая поэзия атомов! Бывает ведь фотолюминесценция, бывает хемилюминесценция...

Он замер, и в глазах его зажегся нездоровый огонек, подозрительно похожий на тот самый рекламный короб.

– И ведь что характерно, – голос его стал тише и приобрел вкрадчивую, маслянистую хрипотцу. – Природа, эта старая сводня, придумала люминесценцию не для того, чтобы диванные философы рассуждали о квантах. Вовсе нет. Возьмите глубоководных рыб или светлячков. Зачем им этот холодный свет в интимных глубинах? Чтобы завлекать! Чтобы соблазнять в крошечной тьме, когда порядочные люди спят. Это же чистый разврат материи.

Платон Пантелеймонович нервно расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Галстук его съехал набок.

– Вот и бабы наши... они же как те фотолюминофоры. Сначала нахватаются от тебя внимания, комплиментов этих паскудных, энергией твоей накачаются, а потом сидят в ресторации, светятся изнутри, сучки крашенные, и ждут, на кого бы этот фотон свой спустить. Ты ей про Канта, про возвышенное, а она губы покрасит люминесцентной дрянью, чтоб в кабаке рожа сияла, как у утопленницы под луной, и зенками своими зырк-зырк. И ведь холодное это свечение, понимаете? Тепла в них – ни на грош, одна химия и блуд.

Он вскочил с кресла, опрокинув томик стихов. Пенсне звякнуло о пол.

– Гляньте на эту вывеску! Зеленая, срамная, так и манит зайти, мол, «у нас тут мази от всего». Так и девки сейчас – обмажутся фосфоресцирующим дерьмом, нацепят юбочки, чтоб ляжки отсвечивали в полумраке парадной, и стоят, светят своими прелестями, чухонки бесстыжие. Люминесценция у них, видите ли! Тьфу! Это не физика, это натуральный притон в масштабах Вселенной. Свет без тепла – это же идеальное описание нынешней бабы: снаружи сияет, как витрина с дешевой колбасой, а внутри – мрак, пустота и желание вытрясти из тебя последнюю сотку на свои помады светонакопительные. Ишь, возбужденное состояние атомов у них... Знаем мы это состояние, плавали, все порты в этом сиянии облевали!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, глядя на аптечный короб налитыми кровью глазами, и принялся яростно чесать затылок, окончательно позабыв о Гегеле.

Люмпен, люмпенизация

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел на садовой скамейке с таким видом, будто он, по меньшей мере, курировал создание Вселенной и теперь взял законный выходной, чтобы проверить, не слишком ли сильно обветшал его проект. На нем было пенсне, которое постоянно сползало на кончик носа, и томик Шопенгауэра, служивший скорее подставкой для подбородка с чин-пуфом, нежели источником знаний.

Мир вокруг казался Платону Пантелеймоновичу прискорбно несовершенным, но философски объяснимым. Он созерцал прохожих с той высокой печалью, с какой античный жрец взирал бы на разбитую амфору.

– Взгляните на этот паноптикум, – пробормотал он, обращаясь к пролетающему мимо голубю. – Какая деградация духа. Мы наблюдаем не просто упадок, а триумфальное шествие люмпенизации.

В этот момент тишину аллеи нарушил звонкий хлопок: у проезжавшего мимо велосипедиста лопнула шина. Из кустов, привлеченные шумом, вылезли двое: неопределенного возраста гражданин в тельняшке цвета несвежего кефира и его спутница с лицом, на котором жизнь написала длинный и довольно нецензурный роман.

Платон Пантелеймонович выпрямился. Его глаза заблестели недобрым, академическим огнем.

– Вот оно! – воскликнул он, указывая на парочку длинным, дрожащим пальцем. – Наглядная иллюстрация процесса! Люмпен, милейший мой, это ведь не просто бедняк. Это существо, выпавшее из социальной структуры, как пуговица из поношенного гольфика. Люмпен – это антиматерия цивилизации. У него нет корней, нет ответственности, нет даже тени приличия. Это человек, который променял алтарь культуры на подворотню инстинктов.

Он поднялся со скамейки, чувствуя, как внутри закипает привычный жар.

– Видите ли, – продолжал он, уже не глядя на велосипед, – люмпенизация – это ведь как заражение крови. Когда общество перестает производить смыслы, оно начинает производить вот таких вот особей. А что главное в психологии этого слоя? Отсутствие тормозов! И вот тут, господа, мы подходим к самому интересному. Ведь если у человека нет социальных обязательств, то и его... кхм... плотские аппетиты превращаются в первобытный хаос.

Платон Пантелеймонович сделал шаг к паре в тельняшках. Его голос стал тише, а пенсне окончательно упало в траву.

– Посмотрите на эту мадам. Вы думаете, она просто дезориентирована социально? Ха! Она – воплощенный призыв к самому низменному грехопадению. В этой ее облезлой юбке и мутных очах кроется такая бездна распутства, какая и не снилась аристократии. Люмпенизация, батенька, это когда вместо высокого штиля любви остается только животное соитие на куче строительного мусора.

Он облизнул пересохшие губы, и его взгляд маслянисто заблестел, словно обертка от шавермы, выброшенная у метро.

– Эта бабища... она ведь не будет ломаться из-за стихов Блока. Ей подмигнул – и в кусты. Там, среди битых бутылок, и происходит истинная диктатура пролетариата, так сказать, во всей ее вонючей красе. Она ж, небось, и не мылась с распада СССР, а в этом-то и вся соль! Грязь на коленках, перегар вместо духов... Это же чистый сок жизни, выжатый из помойки. Вот вы, сударь, стоите в своей тельняшке, а я вижу, как вы ее сейчас за ближайшим сараем завалите, и будет там такая свалка тел, что никакая социология не опишет. Оголтелое, дикое непотребство! – Платон Пантелеймонович почти перешел на хрип. – Хочу видеть, как эта люмпен-королева будет извиваться в пыли, пока вы ее...

– Слышь, отец, ты че несешь? – хмуро спросил гражданин в тельняшке, медленно сжимая кулак.

Платон Пантелеймонович вдруг осекся, поправил воображаемое пенсне и величественно кивнул.

– Я лишь резюмировал неизбежность социального коллапса через призму девиантного поведения. Впрочем, метать бисер перед... представителями дна... излишне.

Он развернулся и быстро, почти бегом, направился к выходу из парка, шепча под нос: «Боже, какая порочная баба... какая восхитительная, грязная, люмпенская дрянь...»

Люстрация

Платон Пантелеймонович Похотливый дегустировал воздух кофейни «Амфир» с такой беззгливой миной, с какой засидевшаяся в девках графиня осматривает зубы дареного коня. Его накрахмаленная грудь выпирала вперед, словно щит, призванный защитить цивилизацию от пошлости бытия, а в мутном взоре читалось нечто среднее между библейским пророчеством и сильным несварением.

Похотливый держал чашку безвкусного глясе так, будто это был скипетр, временно изъятый у нерадивого монарха для наведения окончательного мирового порядка. На столе перед ним лежала свежая газета с кричащим заголовком о политических реформах.

– Люстрация, – прошептал он, смакуя каждый слог, словно дорогую сигару. – Какое возвышенное, античное слово. Очищение огнем. Избавление государственного аппарата от скверны прошлого. Это же симфония справедливости!

Платон Пантелеймонович окинул взглядом залу. Мир казался ему стройным зданием, где каждый кирпичик должен быть проверен на благонадежность. Он представлял, как суровые комиссии в белых перчатках выметаю́т из кабинетов засидевшихся чинуш, как проверяют каждую подпись, каждый архивный донос, дабы ни одна тень бывшего режима не омрачила сияющий полдень демократии.

В этот момент за соседним столиком произошло событие ничтожное, но роковое: полная дама в кричащем леопардовом манто, потянувшись за эклером, неловко задела чашку. Коричневая жижа выплеснулась прямо на ее белоснежную кружевную салфетку.

– Ох, какое безобразие! – вскрикнула дама. – Нужно немедленно это убрать, сменить, вычистить!

Глаза Платона Пантелеймоновича сузились. В его мозгу щелкнула шестеренка, перемалывая высокую материю в нечто более приземленное и вязкое.

– Вот именно, мадам! – вдруг громко произнес он, подавшись вперед. – Вы только что сформулировали суть исторического момента. Люстрация! Это же не просто запрет на профессию для бывших стукачей. Это, если хотите, гигиена. Это когда мы берем грязную, заляпанную грехами девку-власть и начинаем ее раздевать до исподнего, чтобы посмотреть – где там у нее прыщи коллаборационизма вскочили.

Дама замерла с эклером у рта. Платон Пантелеймонович уже не шептал, его голос приобрел маслянистый, хрипловатый оттенок.

– Вы думаете, люстрация – это скучные бумажки в суде? Нет, милочка. Это когда ты зажимаешь эту систему в темном углу истории и спрашиваешь: «А ну-ка, с кем ты гуляла в лихих девяностых? Кому давала... преференции? Чьи сапоги облизывала за пайку?» Это процесс интимный, почти физиологический. Мы должны сорвать с них панталоны министерских постов и высечь за каждый недобор в бюджете.

Он облизнулся, и в его взгляде появилось нечто такое, от чего официант попятился к стойке.

– Ведь что такое власть без очищения? Это же немытая бабища в рваных чулках, которая лезет к тебе в постель с перегаром от казенных откатов. А люстрация – это банька. Жесткий веник! Чтобы кожа покраснела, чтобы визжала от удовольствия, когда ее отстраняют от кормушки на десять лет без права переписки. Мы их всех переберем, каждую складочку в биографии прощупаем. Иной раз смотришь – вроде приличная структура, фасад накрашен, губки уточкой, а копнешь поглубже в архивы – мать божья, там такой бордель, такие грязные связи с Госдепом, что никаким дезинфектором не вытравишь.

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, расслабляя узел галстука. Высокая эрудиция окончательно утонула в пучине его специфического воображения.

– Так что трите, мадам, трите свою салфетку. Но помните: настоящая люстрация – это когда мы всю эту политическую шоблу поставим в коленно-локтевую позицию перед законом и будем входить в их темное прошлое без вазелина и сантиментов. Чтобы знали, как честному народу в карман совать свои потные ручонки...

Дама, позеленев, схватила сумочку и пулей вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович проводил ее плотоядным взглядом и, обернувшись к опешившему официанту, рявкнул:

– Слышь, любезный, повтори-ка еще одну. И чтобы пенка была такая... пышная, как грудь у прокурорской дочки после обыска!

Макабр

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с таким видом, будто единолично сдерживал натиск мировой энтропии. Поверх пенсне он созерцал петербургскую улицу, и в уме его теснились образы возвышенные, окутанные дымкой классицизма.

– Взгляните, сударь, – обратился он к случайному соседу по столику, указывая на пролетающий мимо осенний лист. – Какая неумолимая поступь Хроноса. Мир, по сути, есть лишь декорация к великой пляске смерти. Вы ведь знакомы с концепцией макабра? Это не просто эстетика кладбищенских оград, это глубочайшая философия средневекового сознания. *Danse Macabre*. Смерть уравнивает всех: Папу Римского и нищего, кесаря и слесаря. В этой великой чечетке скелетов сокрыто подлинное благородство фатализма. Мы все лишь кости, обтянутые временным недоразумением плоти.

Сосед, пережевывавший эклер, неопределенно хмыкнул. Платон Пантелеймонович, воодушевившись, поправил галстук.

– Макабр учит нас, что бренность – единственная константа. Вот, к примеру, политические катаклизмы... Что они перед лицом оскаленной челюсти Вечности? Тщета! Лишь в осознании своего конца человек обретает истинное достоинство.

В этот момент за соседним столиком случилось фатальное: пышнотелая официантка, наклонившись за упавшей салфеткой, неловко задела локтем тяжелую чугунную пепельницу. Та с грохотом рухнула на пол, рассыпав серый прах по паркету.

Взгляд Платона Пантелеймоновича мгновенно сфокусировался на крутых изгибах спины официантки. Благородная бледность его лица сменилась подозрительным буряковым оттенком. В глазах зажегся огонек, далекий от философии стоиков.

– Вот! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в дребезжащий фальцет. – Вот вам и живое воплощение макабра! Видите, как дрогнула материя? Грохот, прах... А все почему? Потому что баба – она и есть главный двигатель распада! Вот она нагнулась, и вы думаете, это грация? Нет, это призыв бездны!

Он подался вперед, обдав соседа запахом кофейного перегара.

– Вы посмотрите, какой у нее зад – это ж чистое издевательство над логикой бытия! Она колышется, а я чую: за этим холод могильный. Смерть, она ведь тоже девка, только без кожи. И эта вот, в фартуке, сейчас хвостом вильнет, и все – пиши пропало. У нее под юбкой такой макабр творится, что никакому Гете не снилось. Раньше-то на фресках скелеты с дамами танцевали, а сейчас эти кобылы сами нас в яму заманивают своими мясистыми окороками.

Платон Пантелеймонович вытер вспотевший лоб. Эрудиция слетала с него, как шелуха с гнилого лука.

– Что ты zenки вылупил? – прошипел он соседу, который уже пытался расплатиться и сбежать. – Думаешь, я про культуру? Да я про то, что эта сочная затейница сейчас кости свои в узел завяжет и пойдет хвостом крутить перед всяким сбродом. У них же в голове одна похоть, задрапированная под приличие. Ты глянь, как у нее блузка на груди трещит – это ж не пуговицы, это нервы мои лопаются! Весь этот ваш макабр – просто прелюдия к тому, как эта халда затащит тебя в каморку и начнет там свои непотребства вытворять, пока у тебя коленки не затрясутся. Смерть придет – она хоть не просит алименты, а эта... Эта высосет душу через самое непотребное место и не поморщится. Тьфу, срам! Иди сюда, милочка, принеси-ка еще кофейку, да попой посильнее покрути, пока мы тут все окончательно не разложились!

Мальтузианство

Сидя в кофейне «Амброзия», Платон Пантелеймонович Похотливый так неистово топорщил мизинец, что казалось, палец вот-вот отстрелится и заживет собственной, еще более интеллектуальной жизнью. Перед ним лежал свежий номер газеты, и взор Платона Пантелеймоновича, затуманенный якобы экзистенциальной грустью, скользил по заголовкам.

– О, слепая воля истории! – вздохнул он, обращаясь к чашке эспresso. – Как мало нынешнее поколение смыслит в великом Томасе Роберте Мальтусе. А ведь этот преподобный джентльмен еще в 1798 году узрел корень всех зол.

Он оправил пенсне. В мыслях его рисовались стройные графики: вот кривая продовольствия, ползущая вверх ленивой арифметической прогрессией, а вот – о, ужас! – кривая народонаселения, взрывающаяся ввысь в безудержном геометрическом восторге.

– Вы только вдумайтесь, – прошептал он подошедшей официантке, которая всего лишь хотела забрать пустой сахарный пакетик. – Ресурсы растут по линейке: раз, два, три... А людишки плодятся, как кролики: два, четыре, восемь, шестнадцать! Мальтус знал: стол жизни накрыт не на всех. Если гостей слишком много, природа обязана выставить вышибал – голод, мор и войны. Это же чистая математика духа!

В этот момент за соседним столом молодая дама в тугом ситцевом платье неловко потянулась за салфеткой, и пуговица на ее рукаве с негромким треском отлетела, обнажив полоску белой кожи выше запястья.

Глаза Платона Пантелеймоновича хищно сузились. В его голове Мальтус мгновенно сменил сюртук на засаленный халат.

– Вот! – воскликнул он, и голос его из бархатного баритона превратился в дребезжащий тенор. – Наглядная демонстрация избыточности! Ткань не выдерживает натиска плоти, как биосфера не выдерживает натиска голодных ртов. Но ведь почему их так много, этих ртов? Потому что инстинкт, милочка, это вам не фунт изюма. Это та самая «геометрическая прогрессия», которая начинается с томного взгляда, а заканчивается впотьмах на сеновале.

Он подался вперед, обдавая официантку запахом терпкого одеколона и предвкушения.

– Мальтус-то был поп, он советовал «нравственное воздержание». Ха! Попробовал бы он воздержаться, когда у этой крали за соседним столом такие... ресурсы, что никакая арифметика не спасет. Тут ведь какая петрушка: баба – она как непаханое поле. Дай ей волю, она тебе нарожает целый полк дармоедов, которые сожрут весь хлеб в округе, а потом придут за твоими пирожными.

Платон Пантелеймонович уже не смотрел в газету. Его взгляд маслянисто ощупывал ложбинку на груди проходящей мимо дамы.

– Видишь, как пошла, вихляя кормой? Это же ходячая демографическая катастрофа! Это же биологический агрессор! Она сейчас завлечет какого-нибудь олуха, затащит его в койку, и – пук! – еще пять ртов на одну буханку. И ведь как увлекают, чертовки... Сначала ресничками хлоп-хлоп, а потом как вцепятся в штаны своими граблями, так и высасывают из мужика все соки, пока он не превратится в сухую статистику. Мальтус-то про войны писал, а главная война – она под одеялом происходит, где одна ненасытная девка может спровоцировать глобальный дефицит калорий в отдельно взятой квартире. Эх, взять бы их всех, да под замок, чтоб не плодили нищету своими бесстыжими причиндалами...

Он шумно сглотнул, вытер вспотевший лоб салфеткой и добавил уже совсем хрипло:

– А впрочем, если ресурсов на всех не хватает... может, я бы и пожертвовал собой ради науки. Пошел бы, так сказать, в самую гущу этого демографического взрыва. Чисто для замера амплитуды, понимаешь?

Официантка молча отошла, а Платон Пантелеймонович остался сидеть, сверля глазами треснувшую пуговицу на чужом рукаве и тяжело дыша, как человек, только что в одиночку сразившийся в битве с геометрической прогрессией.

Манихейство

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амбир», придерживая мизинец над чашкой глясе так, словно это был скипетр просвещенного абсолютизма. Свое пенсне он протирал с такой тщательностью, будто надеялся увидеть сквозь стекло саму суть вещей, скрытую от плебса. Платон Пантелеймонович размышлял о дуализме бытия. Он ощущал себя последним бастионом духа в мире торжествующей материи.

– Ах, – шептал он в кружевной платочек, – как же прав был Мани, этот непонятый мессия Света! Ведь мир – это не что иное, как поле битвы между Благой Мыслью и Скверным Желанием.

Манихейство, как известно, учит нас, что изначально существовали две независимые сферы: Царство Света и Царство Тьмы. В Свете царит покой, разум и кротость, а в Тьме – вечное брожение, дым и ярость. И вот, когда Тьма дерзнула взглянуть на Свет, случилась катастрофа – смешение. Мы с вами, милостивые государи, лишь печальные гибриды, искры божественного Света, заточенные в темницах плоти, сотворенной злыми архонтами.

В этот момент за соседний столик присела дама. Она была в узком шелковом платье цвета спелой сливы, и, садясь, неловко задела сумочкой сахарницу. Белые кубики рассыпались по полу, а один, самый бойкий, подкатился прямо к штиблету Платона Пантелеймоновича.

Персонаж вздрогнул. Его взор упал на обтянутое шелком колено дамы. В его голове манихейская космогония сделала крутой вираж.

– Вот оно! – воскликнул он вдруг громко, обращаясь к опешившей официантке. – Наглядная иллюстрация пленения Света! Видите этот сахар? Это чистая субстанция, дух, упавший в грязь нашего дольного мира. Но почему он упал? Из-за движения! А что есть движение материи, как не похоть архонтов, стремящихся сожрать божественную эссенцию?

Он подался вперед, и его приличный фасад начал давать трещину. Глаза заблестели нездоровым, сальным светом.

– Ведь Мани четко говорил: Тьма увидела Свет и возжелала его. И вот эта дамочка, – он ткнул пальцем в сторону соседки, – она же ходячая западня для духа! Вы посмотрите, как это платье облепило ее телеса. Это же чистый Гнозис наоборот. Эти бабы – они же как живые ловушки, расставленные темным Демиургом. У нее там, под шелком, сто процентов, целое гнездо архонтов копошится. Манихейцы знали, что спасение – в аскезе, в отказе от размножения, потому что каждый новый ребенок – это новая тюрьма для украденного Света. А эти... только и думают, как бы тебя в эту тюрьму заманить, обкрутить своими ляжками и выкачать из тебя все благородное сияние.

Голос Платона Пантелеймоновича сорвался на хриплый шепот, а лексикон стремительно потерял петербургский лоск.

– Ишь, вырядилась, кобыла сливяная. Сидит, сахарницу хвостом задела, типа случайно. А сама небось уже прикинула, как меня, философа мирового уровня, в койку затащить, чтоб я там в ней окончательно со смешением материй ознакомился. Знаем мы ваши манихейские штучки. Тьма – она же ненасытная, ей все мало. Ей подавай мужское семя, чтоб еще больше мяса наплодить. Тьфу! Глядишь на нее – вроде приличная, а внутри – сплошной мрак, бурление соков и желание захватить мой светлый элемент в свои потные объятия. Слышь, милочка, ты свой элемент-то прикрой, а то у меня от твоего дуализма уже в штанах манихейство начинается, архонты их за ногу!

Дама, побледнев, схватила сумочку и пулей вылетела из кофейни. Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытер вспотевший лоб и снова поднял мизинец.

– Вот так всегда, – печально резюмировал он, обращаясь к пустому стулу. – Истина слишком тяжела для этого грешного мира. Свет ушел, осталась одна липкая Тьма. Официантка! Водки и селедки, надо же как-то заземлить этот божественный огонь.

Манкирование

Платон Пантелеймонович Похотливый восседал за кофейным столиком с такой монументальной скорбью на лице, словно лично присутствовал при падении Византии и до сих пор не мог простить человечеству этой неосмотрительности.

Его безукоризненная залысина, кокетливо отороченная пушком волос неопределенного цвета, сияла в лучах полуденного солнца, как купол храма забытой мудрости, а в прищуренных глазах застыло благостное оцепенение человека, постигшего тщету всего сущего. Он наблюдал за падением кленового листа с грацией римского сенатора, поправляя пенсне.

– Эфемерность бытия, – прошептал он в пространство. – Мир рассыпается на атомы, и лишь истинная дисциплина духа удерживает нас от падения в бездну хаоса.

Вокруг шумел Санкт-Петербург, но Платон Пантелеймонович видел лишь симфонию закономерностей. Его мысли парили в эмпиреях, пока за соседним столиком не раздался резкий звук. Молодой человек в помятом пиджаке захлопнул ноутбук и воскликнул:

– Опять он манкирует своими обязанностями! Я ему отчет, а он в ответ – тишина!

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «манкирование» вошло в его сознание, как раскаленный гвоздь в масло. Он медленно повернул голову, и его глаза заблестели недобрым, маслянистым огоньком.

– Вы сказали – манкирует? – переспросил он голосом, в котором благородная патина внезапно сменилась скрипом несмазанной телеги. – О, юноша, вы коснулись великой и страшной темы. Знаете ли вы, что само манкирование – это не просто прогул или пренебрежение долгом? Это французское *manquer* – отсутствовать, недоставать. Это когда человек, призванный быть на посту, вдруг становится дыркой от бублика.

Юноша опешил, а Платон Пантелеймонович уже подался вперед, и его пенсне сползло на кончик носа.

– Манкировать можно государственным советом, можно панихидой, можно даже чистой зубов. Это искусство пустоты! Но взгляните глубже. Разве вся наша история – не цепь манкирований? Наполеон манкировал зимним обмундированием под Москвой, и что вышло? Сплошной конфуз и обмороженные пальцы. Но ведь это все прелюдия! – Его голос стал тише и хриплее. – Самое страшное манкирование, милейший, происходит не в кабинетах. Оно происходит в альковах!

Платон Пантелеймонович облизал губы, и в его взгляде появилось нечто отчетливо плотоядное. Высокопарность начала осыпаться с него, как штукатурка с дореволюционного борделя.

– Вот взять бабу. Ну, скажем, Клавку из третьей парадной. Идешь к ней, весь такой на накрахмаленных чувствах, а она что? Она манкирует! Ты ей про метафизику плоти, а она морду воротит, мол, голова у нее болит. Это же чистой воды саботаж генофонда! Она манкирует своими прямыми, так сказать, отверстиями и обязанностями. Разляжется, корова, и думает, что ей за это орден дадут. А ты стоишь перед ней, как дурак, со своим манкированным агрегатом, и хоть бы хны.

Платон Пантелеймонович сплюнул на кафельный пол и вытер рот рукавом, окончательно забыв про Античность.

– А эти, которые в мини-юбках? Это же сплошное манкирование приличиями ради того, чтобы у честного мужика в штанах восстание Уота Тайлера случилось. Идут, жопами крутят, манкируют стыдом, а как до дела – так «ой, не трогайте, я не такая». Вся их натура – это один большой недочет, сплошное отсутствие нужного вещества в нужном месте. Гниль и манкирование! Тьфу!

Он дико огляделся, схватил трость и, не расплатившись, побрел к выходу, бормоча под нос:

– Манкируют... все манкируют... даже пиво сегодня недолили, суки, манкировали ценной жидкостью в пользу пены...

Маргинал

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в шавермичной «Питерский Сверток», поджав губы так сильно, словно удерживал ими всю рушащуюся культуру Европы. Перед ним лежал томик Канта, прижатый к столу холеным пальцем. Платон Пантелеймонович созерцал окружающую действительность с той смесью брезгливости и сострадания, с какой античный бог взирал бы на копошение навозных жуков.

– О, времена, о, нравы! – думал он, поправляя пенсне. – Куда катится этот хрупкий мир? Посмотрите на эти тучи над бульваром. В них нет барочной пышности, одна лишь экзистенциальная серость, напоминающая о неизбежной энтропии бытия. Даже политические дебаты в парламенте нынче лишены той сократической искры, что грела нас в золотой век разума.

Он потянулся за чашкой кофе, стремясь прикоснуться к теплу в этом холодном мире интеллектуального сиротства. Но в этот миг за соседним столом произошло непоправимое.

Грузный мужчина в поношенном ватнике, типичный представитель того слоя, который в энциклопедиях стыдливо именуют маргиналами, неосторожно задел локтем сахарницу. Белые кубики посыпались на пол, а сам господин, чье лицо напоминало плохо пропеченный ржаной хлеб, густо и хрипло выругался.

Платон Пантелеймонович замер. В его голове, словно шестеренки в заржавевшем часовом механизме, заскрежетали мыслительные процессы.

– Вот оно, – прошептал он, и глаза его опасно блеснули. – Вот он, истинный лик маргинала. Ведь кто такой маргинал в высшем, так сказать, метафизическом смысле? Это существо, застрявшее в межпространственной щели между социальными сословиями, как застревает соринка в щели паркета. Он – отброс системы, живущий на периферии сознания, человек-окраина, не знающий ни этикета, ни депиляции.

Он подался вперед, вдыхая запах дешевого табака, исходивший от соседа.

– И ведь что характерно, – продолжал Платон Пантелеймонович уже вслух, обращаясь к буфетчице, протиравшей его столик. – Эта маргинальность, эта неухоженность бытия всегда ведет к одному. К первобытной, животной тяге к бабе! Ведь если человек маргинал, если он спит на газетах и пьет денатурат, у него же в башке только одно – как бы какую-нибудь зачуханную Машку за углом прижать.

Голос его стал ниже, аристократическая бледность сменилась пятнистым румянцем.

– Гляньте на его руки! Этими клешнями только и лапать потных девок в подворотнях. Маргинал – он же как кобель на помойке. Ему не нужны прелюдии, ему подавай грязную юбку и побольше мяса. У него же логика простая, как у табуретки: завалить, задрать и чтоб орала на весь район. Политика? Погода? Ерунда! Все в мире – это огромная, потная, колышущаяся бабья ляжка, которую этот маргинальный элемент жаждет укусить своими гнилыми зубами.

Платон Пантелеймонович уже не смотрел на Канта. Он тяжело дышал, разглядывая буфетчицу так, будто хотел проверить ее на соответствие своим маргинальным фантазиям.

– Вот вы, голубушка, думаете, вы кофе несете? Нет, вы несете искушение для этого косматого чудовища! Он же вас сейчас прямо здесь, на сахарных кубиках, того... употребит по-свойски, по-маргинальному. С матерком, с перегаром, чтоб коленки об асфальт в кровь! Потому что мир – это большая грязная яма, а мы в ней – лишь похотливые черви, ищущие, где бы приткнуться свое естество...

Он сорвал пенсне и жадно уставился на пятно от кофе на своей штанине, которое в его воспаленном мозгу уже приняло очертания чего-то крайне непристойного.

Маркетинг

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне, поджав губы с тем видом городской скорби, который обычно приберегают для похорон выдающихся филантропов. В его руках дымилась крохотная чашка эспresso, а в мыслях ворочались глыбы мирового порядка. Он взирал на суету петербургского проспекта как античный философ на возню муравьев.

«Мир превратился в сплошной фасад, – размышлял Платон Пантелеймонович, поправляя пенсне. – Все суть репрезентация. Мы живем в эпоху симулякров, где истинное бытие подменено яркой оберткой».

В этот момент к соседнему столику подошел официант и поставил перед розовощеким юношей картонный стенд с надписью: «Акция: 1+1 на крафтовое пиво! Узнай вкус настоящего хмеля».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его зрачки сузились. В голове шелкнул невидимый тумблер.

– Вот оно! – воскликнул он, обращаясь к испуганному юноше. – Вы видите это, молодой человек? Это же классический маркетинг – искусство впаривать пустоту, прикрываясь высшими смыслами. Вы думаете, вам предлагают пиво? Нет! Вам продают ценностное предложение!

Он подался вперед, и его голос приобрел вкрадчивые, маслянистые нотки.

– В маркетинге все как в жизни. Сначала идет сегментация рынка. Они смотрят на вас и решают: «Ага, этот лопух потянет на целевую аудиторию». Потом – позиционирование. Нужно выделиться из толпы, понимаете? Как девка на панели, которая нацепила леопардовые лосины, чтобы ее заметили среди серых пальто. Это же брендинг! Создание эмоциональной связи. Они обещают вам «вкус настоящего», а на деле просто пудрят мозги, чтобы вы поглубже залезли в свой кошелек.

Платон Пантелеймонович облизал губы, и его глаза подозрительно заблестели.

– Это же чистая воронка продаж, милейший! Сначала – Attention, привлечение внимания. Как когда девица в метро специально роняет сумочку, чтоб ты, дурак, подорвался ее поднимать. Потом – Interest. Она тебе улыбается, ты уже думаешь: «Ого, какая мадам». Дальше – Desire, желание. Ты уже представляешь ее без этого дурацкого плаща, а она тебе – хрясь! – и УТП под нос. Уникальное торговое предложение. Мол, у меня не просто ноги, а ноги с гарантией качества и программой лояльности.

Юноша попытался отодвинуться, но Платон Пантелеймонович уже вошел в раж. Его галстук съехал набок, а лексика начала стремительно терять налет петербургской интеллигентности.

– А дальше – Action! Понимаешь, щегол? Заккрытие сделки! Ты ведешь ее в кабак, покупаешь это самое «крафтовое», а она, стерва, уже считает твой LTV – пожизненную ценность клиента. Сколько она с тебя еще вытрясет, пока ты не превратишься в неликвидный актив. Это же чистый директ-мейл: залезла тебе в подкорку, насрала там обещаниями неземного блаженства, а на деле – обычный товар с истекающим сроком годности. Все это их «продвижение» – сплошной сьем! Выставляют свои прелести, как товар на полке в «Пятерочке», подсвечивают правильным маркетинговым соусом, чтоб ты, козел, не заметил целлюлита на их стратегии.

Он тяжело задышал, глядя на пустую чашку.

– Весь мир – это одна большая распродажа поношенных надежд. Сначала тебе строят глазки через таргет в соцсетях, а когда ты уже готов на все, оказывается, что это был просто дешевый кликбейт, и баба-то – обычная б/у упаковка без внутреннего содержания. Маркетинг, милоч, это когда тебя имеют, а ты еще и за вход платишь.

Платон Пантелеймонович откинулся на спинку стула, вытер пот со лба и снова водрузил пенсне на переносицу.

– Впрочем, – добавил он ледяным тоном, – современная геополитика страдает от тех же симптомов отсутствия честного позиционирования.

Маркиз де Сад

Февральский Санкт-Петербург напоминал вскрытый и наспех замороженный труп сверхдержавы. Острый, как скальпель, ветер со стороны Финского залива резал прохожих по лицу, а серая каша под ногами застывала грязными торосами.

Платон Пантелеймонович Похотливый шел по набережной Мойки, глубоко упрятав нос в воротник побитого молю енотового тулупа. Его ум, вопреки стуже, парил в эмпиреях метафизики. Он размышлял о феноменологии духа Гегеля и о том, как безупречно кристаллическая структура инея на чугунных решетках отражает трансцендентальную чистоту немецкого идеализма.

Вдруг у фонаря на Синем мосту он заметил господина в старинном, подбитом кунным мехом рединготе, который с явным наслаждением подставлял лицо колющему ледяному насту. На его бледном, порочном лице блуждала тонкая улыбка эстета.

– Сударь, – обратился незнакомец к Платону Пантелеймоновичу на безупречном, изысканном французском. – Не находит ли ваша душа упоения в этой жестокой стуже? Позвольте представиться: Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. Я наблюдаю за этим городом и вижу, что природа здесь – истинный садист. Она карает плоть, и в этом ее высшее благо.

Платон Пантелеймонович приподнял заиндеветую шапку.

– О, маркиз! Какая встреча. Меня зовут Платон Пантелеймонович Похотливый. Вы, наверное, в курсе, что ваша великая фамилия послужила названием для весьма интересной сексуальной девиации – садизма. А вот с моей все просто. «Похоткой» в наших южных уездах называли дикий полевой хвощ, обладающий исключительными целебными свойствами – он очищал кровь от дурных соков. Мои предки были травниками, спасавшими народ от горячки. Моя фамилия буквально означает «Очищающий». Хотя, – тут Платон Пантелеймонович прищурился, – некоторые формы лихорадки, знаете ли, требуют очень специфического... контактного лечения.

Де Сад выслушал все это и кивнул, а Похотливый продолжил:

– Маркиз, разумеется, ваш манифест «Философия в будуаре» и концепция абсолютного эгоизма мне глубоко близки. Вы ведь учили, что человек должен следовать за самыми темными законами природы, отбросив оковы религиозной морали?

– Именно так, мой друг! – воскликнул маркиз, беря Похотливого под руку. – Природа разрушительна. Она создает жизнь через уничтожение и боль. Настоящий суверенный разум обязан перешагнуть через предрассудки добродетели. Жажда удовольствия через господство, подчинение чужой воли и причинение страданий – вот истинная свобода, скрытая под тонкой коркой цивилизации! Общество лицемерно прячет свои пороки, вместо того чтобы возвести их в ранг абсолютного закона!

Де Сад говорил увлеченно, долго, скрежеща зубами от интеллектуального восторга. Он цитировал свои трактаты о том, что страдание объекта лишь удваивает наслаждение субъекта, и что истинный аристократ духа находит оргазм в полном разрушении чужой автономии.

Платон Пантелеймонович слушал, и под его меховой шапкой привычно зашевелились шестеренки его собственной, железобетонной логики. Высокая философия де Сада мгновенно преломилась через призму его навязчивой идеи, растопив зимний лед.

– Как вы тонко подметили, дорогой Донасьен, – прохрипел Платон Пантелеймонович, и его голос внезапно утратил академический лоск, опустившись до глухого, плотоядного баса. – Вся эта ваша деструктивная метафизика и отрицание морали – чистая правда. Ведь если отбросить шелуху, то все эти ваши философские плетки и кандалы придуманы ради одного. Чтобы девки не ломались, сучки.

Маркиз слегка приподнял бровь, удивленный столь резким переходом.

– Вот вы, маркиз, графские титулы имеете, книжки в Бастилии писали... А сути-то бабьей до конца не прочухали! – Похотливый бесцеремонно схватил де Сада за лацкан дорогого редингота, обдавая его перегаром из лука и дешевого коньяка. – Какая, к черту, суверенная свобода через боль? Посмотри на этих питерских баб зимой! Нацепят на себя пуховики до пят, как матрасы ходячие, рейтузы с начесом натянут – хрен подберешься. Это же чистый садизм над мужиком! Природа, говоришь, карает? Да это они нас карают, стервы, своим недоступным видом!

Де Сад попытался высвободить воротник, но хватка петербургского эрудита была мертвой. Стил Платона Пантелеймоновича окончательно рухнул в бездну площадной брутальности.

– Ты думаешь, почему они в тиранство играют? Да им просто хорошего пистона в подвале не вставляли! Вся эта их добродетель зимняя – до первого темного угла у Обводного канала. Стоит ее, заразу, из пуховика этого козлиного вылущить, к теплой батарее в хрущевке прижать, так вся ее гордость на пол стечет вместе с тушью покупной. Они же только и ждут, чтоб пришел нормальный кобель, взял за патлы и показал, кто тут философ, а кто сосать пришел. И все твои книжки, Донасьен, про то, как они визжат под плетью – это ж просто описание обычной пятницы в Купчино, когда бабам денег на шмотки не дали, и они огребли по заднице за свой длинный язык!

Великий проповедник абсолютного порока побледнел. Он, привыкший к изысканным оргиям в замках и утонченному насилию, с ужасом смотрел на этого сибирского медведя в пенсне, который брызгал слюной, хрипел и плотоядно косился на проходящую мимо торговку пышками.

– Но позвольте, мсье... Я говорил об эстетике зла и разрушении бытия... – пролепетал бледный аристократ.

– Эстетика – хренетика! – рявкнул Похотливый, окончательно переходя на матерный сип. – Маркиз Детсад какой-то! Бытие ее разрушить надо! Нагнуть ее на этот самый сугроб, юбку на голову накинуть, чтоб не гавкала про свои права, и вдуть так, чтоб у нее из ушей пар пошел! Вот тебе и вся метафизика природы, понял, француз недоделанный?!

Маркиз де Сад, чей утонченный ужас перевесил всю его философию жестокости, резко вырвался, оставив кусок меха от редингота в кулаке Похотливого, и в панике побежал по обледеневшему мосту, скользя и матерясь на старофранцузском.

Платон Пантелеймонович брезгливо бросил мех на лед Мойки, тщательно вытер козлиную бородку платком, поправил пенсне и снова устремил взор на Исаакиевский собор. На его лице вновь засиял свет чистой христианской скорби о падении нравов современного общества.

Маркитант

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне и с глубоким презрением созерцал суету за окном. В руке он держал томик Монтеня, хотя взглядом больше ласкал проплывающие мимо шелка прохожих дам. Мысль его, подобно упитанному шмелю, неспешно гудела над судьбами цивилизации.

– Двадцать первый век, – шептал он в кружевной платочек, – это закат пассионарности. Мы утратили ту возвышенную монументальность, что была присуща эпохе великих потрясений. Где ныне тот стальной хребет истории, на который нанизывались судьбы народов?

В этот момент за соседним столиком юный студент, готовящийся к экзамену по истории военного быта, громко произнес своему товарищу:

– Нет, ну ты представь, каково это – быть маркитантом в армии Наполеона? Тащить на себе весь этот скarb!

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Брови его взлетели к залысине, а глаза за пенсне хищно блеснули.

– Маркитант! – воскликнул он, внезапно подавшись вперед и вторгаясь в личное пространство юноши. – Вы упомянули маркитантов, молодой человек? Ах, эта святая каста снабженцев при армейских частях, допущенная к торговле съестными припасами и напитками! Вы видите в этом лишь логистику, но я вижу в этом экзистенциальный нерв! Ныне-то слово обмельчало, превратилось в плебейское «торгаш» – так называют любого мелкого лавочника, спекулирующего смыслом жизни. Но в те времена торговля плотью и порохом была искусством, а не просто обменом дензнаков на суррогат!

Студент опешил, а Платон Пантелеймонович, уже не сдерживая разливающееся в груди томление, заговорил быстрее:

– Ведь кто такой маркитант? Это тот, кто следует за полком, неся утешение. В их фургонах, среди окороков и бочонков с дешевым вином, билось сердце самой жизни. Они – кровь войны! И заметьте, – его голос стал на октаву ниже, – среди них было предостаточно женщин. Маркитантки! О, эти пышные вдовы и дерзкие девки, которые под свист ядер разливали водку, не забывая поправлять корсет.

Он облизнул губы, и его возвышенный слог начал давать трещину, как старая штукатурка под напором бурьяна.

– Вы только представьте эту картину: грязь по колено, вонь от пороха и немытых тел, а тут она – в короткой юбке поверх шаровар, с махоньким бочонком на бедре. И вот этот самый маркитант, этот снабженец, он же понимал толк в мясе. А мясо, оно ведь бывает разное, понимаете? Не только говядина в котле.

Глаза Похотливого замаслились, он перешел на хриплый шепот, а его ладонь начала выписывать в воздухе округлые, недвусмысленные жесты.

– Эта маркитантка, она ведь как та кобыла в обозе – выносливая и всегда готова, чтобы ее запрягли. Сидит она на своем фургоне, задница в три обхвата, юбку задрала, чтоб обветривалось, и ржет, как полковая лошадь. Солдатики к ней в очередь, как за кашей, а она им – и выпить, и закусить, и приласкать так, что кости хрустят. Там же в палатках за фургоном такая свара шла, похлеще Аустерлица! Пот, вопли, юбки за уши, пахнет кислятиной и девкой нечесаной – вот она, настоящая история-то!

Платон Пантелеймонович окончательно забыл про Монтеня. Его лицо покраснело, а галстук съехал набок.

– Снабжение, говорите? Да она любого генерала так «снабдит», что у того эполеты отвалятся! Грязная, потная, в волосах солома, а под юбкой – целый склад боеприпасов, и каждый хочет туда свой штык воткнуть...

Студенты, похватав тетрадки, в ужасе ретировались. Платон Пантелеймонович остался один. Он тяжело дышал, глядя в пустую чашку, и на его губах блуждала мечтательная, совершенно непристойная улыбка.

– Маркитанты... – выдохнул он. – Великие люди. Знали, на чем империю строить.

Матримониальный

Платон Пантелеймонович Похотливый дегустировал тишину кофейни «Амброзия» с таким видом, будто принимал парад планет. Его губы были сжаты в узкую, надменную нить, удерживающую внутри титанические пласты европейской мысли. На мраморном столе покоилась свежая газета, чье амбре из типографской сажи и предчувствия катастроф казалось Платону Пантелеймоновичу благовонием.

Дрожащим от интеллектуального восторга пальцем он водрузил на переносицу пенсне и устремил взор к пышным завиткам лепнины, безмолвно вопрошая небеса о судьбах мироздания. Его мысли, облеченные в тяжелый бархат высокого слога, неспешно плыли над суетой: «О, бренность бытия! Мы лишь искры в горниле истории, мимолетные тени, ищущие приюта в лабиринтах духа...»

В Санкт-Петербурге шел дождь. Платон Пантелеймонович усмотрел в этом слезы самой Клио по утраченному имперскому величию. Он чувствовал себя последним хранителем сакрального пламени, существом почти эфирным.

В этот момент за соседний столик присела дама. Она была в дождевике, который неприятно шуршал, и громко заказала себе эклер. Но событием, ставшим роковым, был не эклер. Из ее сумочки выпала маленькая брошюра под названием «Матримониальный вестник: Узы и обязательства».

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Слово «матримониальный» вонзилось в его сознание, как раскаленная спица в кусок масла жирностью восемьдесят две целых и пять десятых процента. Его брови взлетели, а лицо приобрело выражение брезгливой сосредоточенности.

– Матримониальный... – прошептал он, и голос его из бархатного стал похож на скрип чего-то несмазанного. – Посмотрите на это, господа. Матримониальный вопрос – это ведь корень, это базис! Мы думаем: политика, союзы государств, пакты... Чушь! Все это лишь сублимация одного древнего, как навоз, инстинкта.

Он обратился к даме, которая уже занесла ложечку над эклером:

– Вы, сударыня, вероятно, полагаете, что брак – это союз душ? О, святая простота! Матримония – это система легализованного потребления плоти под соусом гражданского кодекса. Это когда ты подписываешь бумажку, чтобы иметь законное право залезть под юбку без риска получить канделябром по кумполу. Ведь что такое женщина в матримониальном контексте? Это же, пардон, объект инвестиций с сомнительной отдачей.

Платон Пантелеймонович подался вперед, его глаза подозрительно заблестели, а изысканный слог начал облетать, как штукатурка в дешевом притоне.

– А я вам скажу! Все эти свадебные марши Мендельсона – это просто похоронный звон по мужской свободе в угоду бабскому коварству. Она стоит у алтаря, вся в белом, как свежесмытый унитаз, а сама уже прикидывает, как твои алименты будут покрывать ее походы по кабакам. Матримониальный союз – это когда ты за право пощупать ее за ляжки в пятницу вечером отдаешь всю свою зарплату, почку и право голоса!

Дама поперхнулась эклером. Платон Пантелеймонович уже не шептал – он вещал, размахивая руками, на которых вздулись жилы.

– Матримония – это грязная сделка! Сначала она тебе строит глазки, вся такая фифа, духами «Красная Москва» несет, а через неделю после загса – халат в пятнах от борща, бигуди на башке и вечное: «Где деньги, Платоша?». И ты сидишь, как дурак, обложенный этими обязательствами, а она, стерва, только и ждет, чтоб ты копыта откинул и жилплощадь ей оставил. Все это бабье племя – оно же только об одном и думает: как бы поудачнее пристроить свой зад на мягкое, прикрывшись «священными узами». Матримониальный, тьфу! Обычное скотство, только с печатью и кружевами.

Он грохнул кулаком по столу, перевернув чашку с остывшим кофе.

– Дайте им волю – они нас всех в стойло загонят! Матримония – это когда ты платишь за то, что раньше в кустах за пятак получал! Грязь, везде одна похотливая грязь, прикрытая кружевами!

Платон Пантелеймонович тяжело задышал, вытирая пот со лба газетой. Дама, подхватив сумку, пулей вылетела из кофейни. Похотливый посмотрел ей вслед, сплюнул на паркет и снова поправил пенсне.

– О, времена, о, нравы... – вновь возвышенно произнес он, глядя в потолок. – Никакого уважения к полету чистой мысли. Одни инстинкты.

Мачизм

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», поджав губы так, словно внутри него совершалось таинство мироздания. Его пенсне, слегка запотевшее от паров эспresso, придавало его взгляду ту особую глубину, которая обычно встречается у пророков или у людей, страдающих хроническим несварением. Платон Пантелеймонович созерцал капли петербургского дождя на стекле и размышлял о преходящем.

«Мир, – думал он, поправляя бархатный жилет, – есть лишь совокупность метафизических вибраций. Геополитическая турбулентность в Юго-Восточной Азии, колебания курса валют, даже этот серый октябрьский небосвод – все это лишь тени в пещере, о которой писал мой великий тезка. Истинный философ видит за хмурыми тучами не циклон, а волю к самоутверждению космоса».

В этот момент за соседним столиком произошло событие, перевернувшее ход мировой истории. Хрупкая официантка, пытаясь уклониться от слишком широко расставленных локтей посетителя в кожаной куртке, неловко задела поднос. Чашка с двойным латте покачнулась и с тихим шлепком опрокинулась, залив брюки посетителя липкой белой пеной.

– Эй, коза, ты че творишь! – гаркнул посетитель, вскакивая. – Ты знаешь, сколько эти штаны стоят? Смотри, куда прешь, корова!

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взгляд, еще секунду назад блуждавший в эмпириях, мгновенно сфокусировался на мокром пятне и разгневанном мужчине. В голове Похотливого щелкнуло реле, переводя мысли с рельсов платонизма на колею сурового жизненного опыта.

«А ведь в этом рыке, в этом первобытном негодовании сокрыта вся суть мачизма», – прошептал он себе под нос, и его голос вдруг приобрел хрипотцу.

– Посмотрите на этот экземпляр, – обратился он к пустому стулу напротив. – Перед нами не просто разгневанный обыватель. Это Мачо, носитель идеи господства, возведенной в абсолют. Мачизм – это ведь не просто привычка чесать подбородок и смотреть исподлобья. Это целая доктрина, где женщина – лишь досадная помеха на пути к величию его, прости господи, штанов.

Платон Пантелеймонович наклонился вперед, его пенсне сползло на кончик носа.

– Видите, как он раздувает ноздри? Это он демонстрирует свою исключительную мужественность через агрессию и полное отсутствие эмпатии. Для такого субъекта любая юбка – это либо мишень, либо обслуживающий персонал, который должен по струнке ходить. Мачизм, милостивые государи, это когда ты самоутверждаешься за счет того, что можешь рявкнуть на девчонку, а потом хвастаться в заспанном гараже, как ты ее «построил». Это культ силы, где вместо мозгов – тестостероновая жижа.

Тут Платон Пантелеймонович осекся, и в его глазах зажегся нехороший, маслянистый огонек. Дистанция между философией и инстинктом сократилась до нуля.

– Хотя, если разобраться по совести, – продолжал он, и его тон стал вязким, как деготь, – бабы-то эти только такого обращения и заслуживают. Понаберут по объявлению косоруких куриц, которые только и умеют, что задом вилять да кофе разливать. Глянь на нее: стоит, ресницами хлопает, дура дурой. А сама небось только и ждет, чтоб ее за этот фартук покрепче прихватили да в подсобку затащили.

Он шумно втянул носом воздух, и его благообразный облик окончательно рассыпался.

– Мачизм – штука правильная, ежели в корень смотреть. Бабу надо держать в узде, чтоб знала, чье мясо жрет. Разлила кофе? Получи в лоб, а потом пошли ее полы мыть, пока коленки не сотрутся. Они ж, сучки, только силу и чувят. Иной раз посмотришь на такую – кобыла кобылой, а голос повысишь, за шкварник возьмешь, так сразу и течь начинается, и в глазах покор-

ность, как у побитой сучки. Все эти их нежные чувства – туфта для недоносков. Им подавай такого вот борова, чтоб вонял потом, перегаром и властью. Чтоб взял ее, хрупкую такую, об косяк приложил для профилактики, а потом отымел так, чтоб она неделю сидеть не могла и только о нем, хозяине, и грезил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.